

Жили-были когда-то, давным-давно, три девочки. Первой считалась Ми, второй — До, третьей — Ля. Была у них крестная, душистая-предушистая, и она никогда не читала детям нотаций, и ее прозвали «крестная Мидоля».

Самая красивая из трех этих девочек — Ми, самая умная — До, ну а Ля скоро умрет.

День ее похорон — памятный день в жизни Ми и До. Вереницей стоят зажженные свечи, горкой высятся шляпы на столе в церковном притворе. Гробик Ля — белый, земля на кладбище — сырая, вязкая. Яму роет человек в куртке с золотыми пуговицами. На похороны приехала крестная Мидоля. И когда ее целует Ми, крестная говорит: «Ненаглядная моя». А До она говорит: «Ты пачкаешь мне платье».

Проходят годы. Крестная Мидоля живет далеко-далеко, и шлет она письма с грамматическими ошибками, а рассказывают о ней шепотом. Сначала — она бедная и шьет дорогие туфли для богатых дам. Потом разбогатела и делает дешевые туфли для бедных. А потом накопила столько денег, что покупает красивые дома. И однажды — потому что умер дедушка — она приезжает в большущей машине. Она дает Ми примерить свою красивую шляпку, а на До смотрит и не узнает ее. Земля на кладбище сырая, вязкая, а человек, который засыпает дедушкину яму, носит куртку с золотыми пуговицами.

Со временем До станет Доменикой, а Ми — далекой Мишелью: они видятся только изредка, когда Мишель приезжает на каникулы и дает кузине До примерять свои пышные наряды из органди, и все кругом умиляются, что бы Мишель ни сказала, и крестная шлет ей письма, в которых называет ее своей ненаглядной. И настанет день, когда Ми заплачет над могилой матери. Земля на кладбище сырая, вязкая, крестная обнимает за плечи Ми, Мики, Мишель и что-то ей нежно шепчет, а что — До не слышит.

И потом Ми — она в трауре, потому что у нее нет больше матери, — скажет кузине До: «Мне так нужно, так нужно, так нужно, чтобы меня любили. »

А через небольшое время, то ли через два, то ли через три года, ми простится с отцом на асфальтовой дорожке аэродрома, у огромной птицы, что унесет его вдаль, в свадебное путешествие с крестной Мидоля, в город, который До разыскивает, водя пальцем по картам своего школьного атласа.

А еще через некоторое время Ми уже больше нигде не встретишь, разве что на фотографиях в журнале с глянцевиной обложкой. То увидишь ее с распущенными по плечам длинными черными волосами, в бальном платье входящей в огромный зал, весь в мраморе и позолоте. То предстанет перед тобой длинноногая девушка в белом купальном костюме, лежащая на палубе белого парусника. А иной раз она ведет маленькую открытую машину, на которую карабкаются, цепляясь друг за друга и размахивая руками, какие-то молодые люди. Иногда хорошенькое личико Мики серьезно, брови над красивыми светлыми глазами немного насуплены, но это потому, что ее слепит солнце, играющее на снегу. А иногда она улыбается совсем близко, глядя прямо в объектив, и под фотографией написано по-итальянски: «когда-нибудь эта девушка станет одной из самых богатых наследниц в стране».

Пройдут еще годы, крестная Мидоля умрет, как умирают феи, в своем дворце — то ли во Флоренции, то ли в Риме, то ли на берегу Адриатического моря, и не кто иной как До выдумает эту сказку, хоть и отлично знает — ведь она уже не маленькая, — что сказка эта — ложь.

Правды в ней чуть, но и этого довольно, чтобы До не спалось, да ведь крестная Мидоля и не фея, а всего лишь богатая старуха, которая пишет безграмотные письма, и До видела ее только на похоронах, и она вовсе ей не крестная, да и Мишель ей вовсе не кузина; это просто пустые слова, которые говорят детям прислуги, таким, как До и Ля: и звучит приятно, и вреда никому не принесет.

Сверстница юной принцессы с длинными волосами, украшающей иллюстрированные журналы,

двадцатилетняя До, всю свою жизнь получает на рождество открытые туфельки, шитые во Флоренции. Оттого, может быть, она считает себя золушкой.

2

Вспышка яркого света вдруг ножом полоснула по глазам. Кто-то склоняется надо мною, чей-то голос пронзает мой мозг, я слышу крики, отдающиеся эхом в дальних коридорах, но знаю: это кричу я. Я вдыхаю открытым ртом тьму, тьму, наполненную незнакомыми лицами, какими-то шепотами, и снова умираю, счастливая.

Через одно мгновение — через день, через неделю, через год — свет вспыхивает снова, по другую сторону моих смеженных век, мои руки горят, и рот и глаза тоже. Меня катят по пустым гулким коридорам, я опять кричу, это тьма.

Иногда боль сосредотачивается в одной точке, где-то в затылке. Иногда я чувствую, что меня передвигают, катят куда-то, и боль растекается по жилам, как поток пламени, иссушающий кровь. Во тьме подчас возникает огонь, подчас вода, но я больше не мучаюсь. Полосы огня наводят ужас. А водяные струи — холодные, от них мне сладко спится. Так хочется, чтобы растаяли эти лица, чтобы угасли эти шепоты. Когда я ловлю ртом тьму, я жажду чернейшей, беспросветной тьмы, жажду погрузиться как можно глубже в ледяную воду, никогда из нее не выплывать.

И вдруг я всплываю, вытолкнутая болью во всем теле, пригвожденная глазами к белому свету, возникшему надо мной. Я отбиваюсь, воплю, я слышу свои крики где-то очень далеко, и голос, пронзающий мне мозг, что-то грубо говорит, того что — я не понимаю.

Тьма. Лица. Шепоты.

Белизна. Болят руки, рот, глаза.

«Не шевелитесь. Не шевелитесь, моя маленькая. Вот так, тихонечко. Я ведь не делаю больно. Кислород. Тихонечко. Вот так, умница, умница».

Тьма. Лицо женщины. Дважды два — четыре, трижды два — шесть, линейкой ее по пальцам. У выхода стройся в ряды. Хорошенько открывай рот, когда поешь. Все лица всплывают, построясь попарно. Где сиделка? Я не хочу, чтобы в классе шептались. Когда будет хорошая погода, пойдем купаться. Она разговаривает? Сначала она бредила. После пересадки ткани жалуется на боль в руках, на лицо не жалуется. Море. Если ты далеко заплывешь, утонешь. Она жалуется на мать и на какую-то учительницу, которая била ее линейкой по пальцам. Над моей головой прокатились волны. Вода, волосы в воде, ныряй, воскресни, свет.

Я воскресла в одно сентябрьское утро, лежа на спине, укутанная в чистые простыни, руки и лицо у меня больше не горели. Моя кровать была у большого окна, передо мной плясал большой солнечный зайчик.

Вошел какой-то человек, говорил со мной очень ласково, жаль, что так мало. Он просил меня быть умницей, не пытаться поворачивать голову или шевелить руками. Он говорил, отчеканивая каждое слово по слогам. Он был спокоен и внушал спокойствие. У него длинное, угловатое лицо, большие черные глаза. Больно мне было только от его белого халата. Он это понял, заметил, что я жмурюсь.

Во второй раз он пришел в сером пиджаке. Опять говорил со мною. Попросил закрывать глаза, когда я хочу сказать «да». Мне больно? Да. Голова? Да. Руки? Да. Лицо? Да. Я понимаю, что он говорит? Да. Потом он спросил, знаю ли я, что случилось. Увидел, что я отчаянно раскрыла глаза.

Он ушел, и моя сиделка сделала мне укол, чтобы я спала. Она большая, с большими белыми руками. Я поняла, что мое лицо не голо, как у нее, а закутано. Я постаралась ощутить на своей коже повязки, мази. Я мысленно проследила — круг за кругом — бинт, который окутывал мою шею, переходил на затылок и темя, потом на лоб, оставляя глаза свободными, спускался к нижней части лица и дальше — кругами, кругами. Я заснула.

Затем наступили дни, когда я стала кем-то, кого переключивают, кормят, возят по коридорам, кто закрывает глаза один раз, если хочешь сказать «да», а если — «нет», то два раза, кто не хочет кричать, но истошно вопит во время перевязок, кто не может ни говорить, ни двигаться; я превратилась в животное, чье тело очищают мазями, а мозг — уколами, в существо безрукое, безликое; я стала — никто.

— Через две недели снимем с вас повязки, — сказал доктор. — По правде говоря, мне немножко жаль: я вас очень люблю такой, похожей на мумию.

Он сказал мне свою фамилию: Дулен. Радовался, что я через пять минут помнила ее, и еще больше радовался, что я способна повторить ее не коверкая. Сначала, когда он наклонялся надо мною, он говорил только: «моя

барышня», «малютка», «умница». Я повторяла: «мобашкола», «малинейка», «умнисердие» — слова, которые мое сознание отмечало как неправильные, но одеревеневшие губы выговаривали помимо моей воли. Позднее доктор Дулен назвал это «столкновением поездов», он говорил, что это не так неприятно, как прочее, и очень быстро пройдет.

И действительно, мне понадобилось меньше десяти дней, чтобы научиться узнавать услышанные мною глаголы и прилагательные. На имена нарицательные у меня ушло еще несколько дней. Но я никак не могла осмыслить имена собственные. Мне удавалось повторять их так же правильно, как и все другое, но они не вызывали в памяти ничего, кроме слов доктора Дулена. За исключением некоторых, как «Париж», «Франция», «Китай», «площадь Массены» или «Наполеона», они оставались запертыми в неведомом мне прошлом. Я заучивала их наново, и все. И бесполезно было объяснять мне, что значит «есть», «ходить», «автобус», «череп», «клиника» или любое другое слово, если оно не подразумевало определенного человека, место, событие. Доктор Дулен говорил, что это нормально и не надо волноваться.

— Вы помните мою фамилию?

— Я помню все, что вы говорили. Когда мне можно будет себя увидеть?

Он куда-то шагнул, и когда я попыталась проследить за ним, у меня заболели глаза. Вернулся он с зеркалом. Я погляделась в зеркало, вот она я: два глаза и рот в длинном твердом шлеме, окутанном марлей и белыми бинтами.

— Чтобы разбинтовать все это, нужно больше часа. А то, что спрятано под этим, кажется, будет прелестно.

Он держал зеркало передо мной. Я полусидела, опираясь на подушки, руки мои, привязанные к краям кровати, были вытянуты вдоль тела.

— Когда мне развяжут руки?

— Скоро. Надо быть умницей и поменьше шевелиться. Их привязывают, только когда вам надо спать.

— Я вижу свои глаза. Они голубые.

— Да. Голубые. А теперь не двигаться, не думать. Спать.

Зеркало исчезло, а с ним эта штуковина с голубыми глазами и ртом. Длинное, угловатое лицо доктора снова оказалось передо мной.

— Бай-бай, мумия.

Я почувствовала, что соскальзываю с подушек и меня опять укладывают на спину. Мне хотелось увидеть руки доктора. Лица, руки, глаза, — сейчас для меня это было самое важное. Но он ушел, и я уснула без укола, всем своим телом ощущая усталость и повторяя имя, такое же незнакомое, как все другие, — мое собственное имя.

— Мишель Изоля. Меня зовут Ми или Мики. Мне двадцать лет. Будет двадцать один в ноябре. Я родилась в Ницце. Мой отец живет всегда в Ницце.

— Потихонечку, мумия. Половину слов вы проглатываете, вы переутомитесь.

— Я понимаю все, что вы говорите. Несколько лет я жила в Италии с тетей; в июне она умерла. Я получила ожоги во время пожара три месяца назад.

— Я вам не так говорил.

— У меня была машина. Марка «MG». Зарегистрирована за номером ТТ-Х-66-43-13. Белого цвета.

— Молодец, мумия.

Я хотела его удержать, но вверх по руке, до самого затылка, побежала острая боль.

Он всегда бывал у меня не больше нескольких минут. Затем мне давали какое-то питье со снотворным.

— Моя машина была белая. Марка «MG». Зарегистрирована за номером ТТ-Х-66-43-13.

— А дом?

— Он стоит на мысе, который называется мыс Кадэ. Это между Ля-Сьота и Бандоль. Он двухэтажный, три комнаты и кухня внизу, три комнаты и две ванны наверху.

— Не так быстро. Ваша спальня?

— Выходит окнами на море и на поселок, который называется Лек. Стены окрашены в голубую и белую краску. Я же вам говорю, что это идиотство. Я помню все, что вы говорите.

— Это важно, мумия.

— Важно то, что я это повторяю. А в памяти это ничего не вызывает. Одни слова и все.

— Вы бы могли повторить их по-итальянски?

— Нет. Я помню только: «camera», «casa», «machina», «bianka»

. Я ведь вам уже говорила!

— Ну, на сегодня довольно. Когда вы будете чувствовать себя лучше, я покажу вам фотографии. Мне дали три больших коробок со снимками. Я знаю вас лучше, чем вы сами, мумия.

Оперировал меня некто доктор Шавер, в Ницце, через три дня после пожара. По словам доктора Дулена, наблюдать работу Шавера, проделанную после перенесенных мною в тот же день двух кровотечений из ран, было одно удовольствие, каждая деталь в ней — просто чудо, но он не пожелал бы ни одному хирургу повторить эту операцию.

Затем я лежала в Булони, в клинике доктора Динна, куда меня поместили через месяц после первой операции. В самолете у меня было третье кровотечение, потому что легчику за четверть часа до посадки пришлось набирать высоту.

— Доктор Динн занимался вами после того, как пересадка кожи прошла благополучно. Он сделал вам красивый носик. Я видел слепки. Уверяю вас, получилось очень красиво.

— А вы кто?

— Я зять доктора Шавера. Служу при святой Анне (больница святой Анны

— городская психиатрическая больница в Париже). Наблюдаю вас с того самого дня, как вас перевезли в Париж.

— А что со мной делали?

— Здесь? Вам, мумия, сделали хорошенький носик.

— А раньше?

— Это уж не существенно, раз это позади. Ваше счастье, что вам двадцать лет.

— Почему мне нельзя никого видеть? Я уверена, что если б я увидела отца или кого-нибудь, кого я прежде знала, я бы с ходу все вспомнила.

— У вас удивительная способность находить нужное слово, моя крошка. «с ходу» вы уже получили несколько ударов по черепу, причем один нам порядком докучал. Чем меньше вы будете получать их теперь, тем лучше.

Он улыбнулся, медленно протянул руку, осторожно, не нажимая на секунду положил ее на мое плечо.

— Не терзайтесь, мумия. Все образуется. Через некоторое время ваши воспоминания вернутся к вам, одно за другим, потихонечку, чтобы вам не было больно. Есть много видов амнезии, почти столько же, сколько больных ею. А у вас очень, очень симпатичная амнезия. Ретроградная, частичная, без потери речи, без малейшего даже заикания, но при этом с таким широким и мощным кругом действия, что теперь этот зияющий провал непременно будет зарастать. И останется от него только вот этакая, совсем-совсем махонькая щелка.

Он показал пальцами, сблизив большой с указательным, — какая малюсенькая останется щелка. Улыбаясь, он намеренно медленно встал, чтобы я не слишком быстро повернула глаза.

— Будьте умницей, мумия.

Он пришел как-то, когда я была настолько «умницей», что меня перестали глушить трижды в день пилюлями снотворного — их давали мне в бульоне. Это было в конце сентября, спустя примерно три месяца после моей катастрофы. Я могла притворяться спящей, а моя память — вдоволь биться о прутья своей клетки.

Где-то были залитые солнцем улицы, пальмы у моря, школа, класс, учительница с гладко причесанными волосами, купальный костюм (красный шерстяной), ночи, озаренные огнями иллюминации, военный оркестр, шоколад, который протягивает американский солдат, и сразу — провал.

Затем — вспышка яркого света, руки сиделки, лицо доктора Дулена.

Временами я очень ясно, с гнетущей и пугающей ясностью видела перед собою толстые руки мясника, топорные как будто, а все же ловкие, и одутловатое мужское лицо, бритую голову. То были руки и лицо доктора Шавера, видела я их между двумя погружениями в забытие, между двумя комами. Воспоминание о Шавере относилось, должно быть, к июлю, когда он вернул меня в этот мир — белый, равнодушный, непонятный. Умостив больной затылок на подушке, закрыв глаза я подсчитала в уме. Подсчеты эти складывались передо мною столбиками на грифельной доске. Мне двадцать лет. американские солдаты, по словам доктора Дулена, раздавали шоколад детям в 1944 или в 1945 году. Предел моей памяти — первые пять-шесть лет моей жизни. Пятнадцать лет как резинкой стерло.

Я привязалась к именам собственным, цепляясь за них, потому что это были слова, ничего во мне не вызывавшие, никак не связанные с этой новой жизнью, которой меня заставляли жить. Жорж Изоля, мой отец. Флоренция, Рим, Неаполь, Лек, мыс Кадэ. Но тщетно я их твердила. Потом я узнала от доктора Дулена, что это как об стенку горох.

— Я же говорил вам, мумия, лежите смирно. Если имя вашего отца ничего вам не напоминает, то, следовательно, вы забыли отца вместе со всем прочим. Это еще ничего не значит, что вы не помните его имя.

— Но я знаю, когда говорю «река», «лисица», о чем я говорю. А разве я после несчастья видела реку, лисицу?

— Слушайте, цыпушка, когда вы встанете на ноги, у нас с вами обо всем этом будет длинный разговор, обещаю вам! А сейчас мне бы хотелось, чтобы вы были умницей. Но одно вам надо усвоить: Вы замкнуты в рамках определенного, изученного, можно сказать, почти «нормального» процесса. Я вижу каждое утро десять стариков, которые не разбили себе голову, однако испытывают почти в точности то же самое. Пяти— или шестилетний возраст — таков, примерно, предел их памяти. Они помнят свою школьную учительницу, а вот собственных детей или внуков не помнят. Это не мешает им перебрасываться иной раз в картишки. Они забыли почти что все, а карточные ходы и как скрутить сигарку — помнят. Вот так-то. Вы наделали нам хлопот своей амнезией, которая носит старческий характер. Будь вам сто лет, я бы сказал: «желаю здравствовать» и сбросил бы вас со счетов. Но вам двадцать. Поэтому нет и одного шанса на миллион, что вы останетесь такой, как сейчас. Поняли?

— Когда мне можно будет увидеть отца?

— Скоро. Через несколько дней с вашего лица снимут это средневековое украшение.

— Я бы хотела знать, что было.

— Немного погода, мумия. Есть вещи, в которых я хочу быть вполне уверен, а если я слишком долго буду сидеть у вас, вы устанете. Ну-ка, номер вашей машины?

— 66-43-13 «ТТ-Х».

— Вы нарочно называет номер в обратном порядке?

— Да, нарочно! Хватит с меня! Я хочу двигать руками! Хочу видеть отца! Хочу отсюда выйти! Вы каждый день заставляете меня повторять всякую чушь! Хватит с меня!

— Смирно, мумия.

— Не называйте меня так!

— Прошу вас, успокойтесь!

Я подняла руку — огромный гипсовый кулак. В этот вечер со мной было то, что врачи называли «кризисом». Пришла сиделка. Мне снова привязали руки к кровати. Доктор Дулен стоял передо мной у стены, пристально глядя на меня злым, полным обиды взглядом.

Я бешено выла, не ведая, на кого я злюсь, — на него или на себя. Мне сделали укол. Я заметила, что пришли еще сиделки, еще врачи. Именно тогда, кажется, я впервые ясно представила себе свой физический облик. У меня было такое ощущение, словно я вижу себя со стороны, глазами тех, кто на меня в эту минуту смотрел. Бесформенное существо с тремя отверстиями, уродливое, постыдное, воющее. Я выла от омерзения.

Доктор Дулен не навещал меня целую неделю. Я сама много раз просила вызвать его. Моя сиделка, которой, должно быть, сделали выговор после моего «кризиса», отвечала на вопросы нехотя. Руки мне она отвязывала только на два часа в день и эти два часа не спускала с меня глаз, подозрительно и напряженно следя за мною.

— Это вы дежурите при мне, когда я сплю?

— Нет.

— А кто?

— Другая.

— Я хотела бы видеть отца.

— Нельзя.

— Я хотела бы видеть доктора Дулена.

— Доктор Динн не позволяет.

— Скажите мне что-нибудь.

— Что?

— Что угодно. Поговорите со мной.

— Запрещено.

Я смотрела на ее большие руки, они казались мне такими красивыми и надежными. Наконец она почувствовала мой взгляд, он ее стеснял.

— Нечего следить за мной, перестаньте.

— Да ведь это вы следите за мною.

— Приходится, — отвечала она.

— Сколько вам лет?

— Сорок шесть.

— Сколько времени я здесь?

- Семь недель.
- Это вы ходили за мной все семь недель?
- Я. Теперь уж хватит.
- А какая я была в первые дни?
- Лежали неподвижно.
- Бредила?
- Случалось.
- А что я говорила?
- Ничего интересного.
- Ну что, например?
- Не помню.

К концу второй недели, второй вечности доктор Дулен зашел в мою комнату с каким-то свертком под мышкой. На нем был непромокаемый плащ, забрызганный грязью. В оконные стекла барабанил дождь.

Он подошел ко мне, очень быстро, не нажимая, чуть-чуть прикоснулся к моему плечу, сказал:

- Здравствуйте, мумия.
- Долго же я ждала вас.
- Знаю, — ответил он. — А я зато получил подарок.

Он рассказал мне, что кто-то, кто живет за стенами клиники, прислал ему после моего «кризиса» цветы. Букет из георгинов, потому что это любимые цветы госпожи Дулен, а к букету был приложен брелок с кольцом для ключей от машины. Дулен показал мне эту вещь. Она была золотая, круглая, похожая на висячий замочек, заводилась как будильник. «это очень удобно, когда стоишь в „голубой зоне“», — сказал Дулен и объяснил, что такое „голубая зона“ (голубая зона — район внутри города, где установлены особые правила уличного движения, в частности, ограничивающие время стоянки автомобиля).

— Это вам мой отец подарил?

— Нет. Одна дама, она взяла вас на свое попечение после кончины вашей тетушки. В последние годы вы встречались с ней гораздо чаще, чем с отцом. Зовут ее Жанна Мюрно. Она поехала вслед за вами в Париж, когда вас сюда перевезли. Справляется о вас три раза в день.

Я ответила, что это имя ничего мне не говорит. Дулен взял стул, подсел ко мне, завел свой будильничек-брелок и положил его у моего плеча на кровать.

— Через четверть часа он зазвонит. И мне надо будет уходить. Вы хорошо себя чувствуете, мумия?

— Мне не хочется, чтобы вы меня так называли.

— Завтра я перестану вас так называть. Утром вас повезут в операционную. С вас снимут повязки. Доктор Динн думает, что все хорошо зарубцевалось.

Он развернул сверток. В нем оказались фотографии, на них была снята я. Он показывал мне их по одной, следя за моим взглядом. Кажется, он и не ждал, что они пробудят во мне хоть какое-нибудь воспоминание. Впрочем, я ничего и не вспомнила. Я увидела черноволосую девушку: на одной фотографии

— лет шестнадцати, на других — лет восемнадцати, и нашла, что она прехорошенькая; она охотно и много улыбалась, у нее были длинные ноги и тонкая талия.

Снимки были блестящие, обворожительные, но при взгляде на них меня охватывал ужас. Я даже не пыталась вспоминать. Напрасный труд — я поняла это сразу, едва взглянула на первое фото. Я жадно разглядывала себя и была счастлива и несчастна; такой несчастной я еще ни разу не чувствовала себя с тех пор, как открыла глаза под белым светом лампы. Мне хотелось и смеяться и плакать. В конце концов я заревела.

— Ну-ну, цыпушка. Не глупите.

Он убрал фотографии.

— Завтра я покажу вам другие снимки, где вы не одна, а с Жанной Мюрно, с тетушкой, отцом, с друзьями, — ведь всего три месяца назад у вас были друзья. Не надо особенно надеяться, что это вернет вам прошлое. Но это вам поможет.

Я сказала: «да, я вам доверяю».

Будильничек с кольцом для ключей зазвонил у моего плеча.

Из операционной я пришла на собственных ногах, но меня поддерживали сиделка и ассистент доктора Динна. Тридцать шагов по коридору; правда, из-под полотенца, которым закутали мне голову, я видела перед собой только каменный пол в черную и белую клетку. Меня снова уложили в постель. Руки мои устали больше, чем ноги, потому что кисти еще не освободили от тяжелых шин, вложенных в повязки.

Меня усадили, подложив под спину подушку. Доктор Динн, в пиджаке, без халата, пришел вслед за нами в мою комнату. По-видимому, он был доволен. смотрел он на меня как-то странно, внимательно следя за каждым моим движением. Мое голое лицо казалось мне холодным как лед.

— Я бы хотела себя увидеть.

Доктор Динн кивнул сиделке. Он был низенький, тучный, лысоватый. Сиделка подошла к моей кровати с тем самым зеркалом, в котором я две недели назад увидела себя в своей маске.

Мое лицо. Мои глаза, смотрящие мне в глаза. Короткий прямой нос. Гладкие, выдающиеся скулы. Пухлые губы, приоткрывшиеся в тревожной, чуть жалобной улыбке. Кожа не мертвенно-бледная, как я ожидала, а розовая, словно свежeweымытая. Лицо, в общем, приятное, но неподвижное — я еще боялась напрягать мускулы под его новой кожей и мне показалось, оно приобрело ярко выраженный азиатский облик, который придавали ему выдающиеся скулы и раскосые глаза с уголками, подтянутыми к вискам. Мое неподвижное и ошеломляющее лицо... По нему скатились две теплые слезы, а вдогонку за ними еще, и еще, и еще... Мое собственное лицо заволочлось туманом и стало неразличимо.

— Волосы у вас отрастут быстро, — сказала сиделка, — поглядите, как они погустели за три месяца под повязкой. Ресницы у вас тоже станут длинней.

В больнице ее звали сестрой Раймондой. Она прилагала все свое старание, пытаясь сделать мне «прическу»: мои жалкие волосенки, прикрывавшие шрамы на голове, она начесывала прядку за прядкой, чтобы они выглядели гуще. Протирала ватой мне лицо и шею, приглаживала щеточкой брови. Должно быть, она больше не сердилась на меня за «кризис». Каждый день она наводила на меня такой лоск, словно собиралась выдать замуж. Иной раз она говорила:

— Вы похожи на китайского божка, а еще на Жанну д'Арк. Вы знаете, кто такая Жанна д'Арк?

По моей просьбе она принесла откуда-то большое зеркало, и оно висело на спинке кровати, у меня в ногах. Я не отрывала от него глаз, разве только когда засыпала.

Сиделка стала разговорчивее, болтала со мною в долгие послеобеденные часы. Она вязала, покуривала и сидела так близко ко мне, что я могла, чуть-чуть нагнув голову, увидеть в зеркале и ее, и свое лицо.

— Давно вы работаете сиделкой?

— Двадцать пять лет. А здесь-десять.

— У вас бывали такие больные, как я?

— Есть много людей, которым хочется переделать себе нос.

— Я же не о таких говорю.

— За больной, потерявшей память, я однажды ухаживала. Это было давно.

— Она выздоровела?

— Она была очень старая.

— Покажите мне еще раз фотографии.

Она брала с комода коробку, оставленную нам доктором Дуленом. Один за другим показывала мне кадры, которые так ничего и не воскрешали в моей памяти, и даже не доставляли мне удовольствия, как в первые минуты, когда, казалось, я вот-вот припомню, что было потом, после сцены, запечатленной на куске глянцеvитой бумаги размером 9 x 13.

В двадцатый раз я разглядывала эту незнакомку — ту, кем прежде была я, — и теперь она нравилась мне меньше, чем девушка с короткими волосами, поселившаяся в ногах моей кровати.

Рассматривала я и тучную женщину в пенсне, с обвислыми щеками. Это была моя тетя Мидоля. Она никогда не улыбалась, носила вязаный платок на плечах и всегда снималась сидя в кресле.

Я изучала Жанну Мюрно, которая пятнадцать лет преданно служила моей тетке, а последние шесть-семь лет не разлучалась со мной и поехала вслед за мною в Париж, когда меня перевезли сюда после операции в Ницце. А пересадка кожи? Ведь квадратный лоскут кожи — двадцать пять сантиметров на двадцать пять — я получила от нее. И свежие цветы ежедневно, и ночные рубашки (правда, я пока только любовалась ими), и всякая косметика (ей мне еще не разрешили пользоваться), и бутылки шампанского, стоявшие в ряд у стены, и сладости, которые сестра Раймонда раздавала в коридоре своим товаркам, — всем этим я тоже обязана Жанне Мюрно.

— Вы ее видели?

— Эту молодую женщину? Ну как же, много раз после двенадцати, когда у меня перерыв на завтрак.

— Какая она?

— Как на фото. Через несколько дней вы ее увидите.

— Она с вами разговаривала?

— Не раз.

— А что она вам говорила?

— «Не спускайте глаз с моей девочки». Она была при вашей тетушке чем-то вроде компаньонки, а может — секретаршей или экономкой. Она и о вас заботилась в Италии. Тетка ваша уже почти не двигалась.

Судя по фотографиям, Жанна Мюрно была высокая, спокойная, красивая, элегантная и довольно-таки строгая дама. Есть только одна карточка, где Жанна снята со мной. Мы стоим на снегу. На нас лыжные костюмы с узкими брюками, вязанные шапочки с помпонами. Но от снимка не оставалось впечатления, что мы были беспечны и дружны.

— Она здесь как будто сердится на меня...

Сестра Раймонда повернула к себе фотографию, поглядела и с фатальным видом кивнула:

— Не без причины, как видно. Вы, знаете ли, были мастерица делать глупости.

— Откуда вы это взяли?

— Из газет.

— Ах так!

Июльские газеты поместили сообщения о пожаре на мысе Кадэ. Доктор Дулен, сохранивший номера газет, в которых рассказывалось обо мне и той, другой девушке, пока не хотел их мне показывать.

Та, другая девушка, тоже имелась в моей коллекции. Все они были там, в коробке: большие и маленькие, привлекательные и не привлекательные, и все мне незнакомые, с застывшей на лице улыбкой, от которой мне уже становилось тошно.

— На сегодня хватит, посмотрелась.

— Хотите, я вам что-нибудь прочитаю?

— Письма отца.

От него было три письма, а от родных и друзей — пожелания скорейшего выздоровления. Мы-де живем в постоянной тревоге за тебя. Мне, мол, жизнь не в жизнь. Рвусь к тебе, мечтаю обнять. Дорогая Ми! Мики моя! Любимая моя Ми! Радость моя! Бедная моя деточка!

Письма отца были ласковые, тревожные, сдержанные, разочаровывающие. Два каких-то молодых человека написали мне по-итальянски. А третий, подписавшийся «Франсуа», заявил, что я принадлежу ему навеки, что с ним я забуду весь этот ад.

А Жанна Мюрно прислала мне только записку за два дня до того, как с меня сняли мою маску. Записку мне дали потом, вместе с письмами от других. Вероятно, она была приложена к коробке с засахаренными фруктами, либо к шелковому белью, либо к часикам, которые я носила на руке. В ней было всего и написано: «Моя Ми, светик мой, птенчик ты мой, клянусь тебе, ты не одинока. Не тревожься. Не горюй. Целую. Жанна».

Это-то мне не нужно было читать вслух. Это я знала наизусть.

С меня сняли шины и повязки, которые сковывали мне руки. Надели на них белые нитяные перчатки, мягкие и легкие, не дав мне даже посмотреть на свои пальцы.

— Я всегда должна буду носить такие перчатки?

— Самое важное, что руки могут вам служить. Кости не повреждены, боль при движении вы будете ощущать только несколько дней. Вам-то ведь не придется пользоваться пальцами, чтобы выполнять тонкую работу, например, часы разбирать, перчатки не помешают вам делать обычные движения. На худой конец перестанете играть в теннис.

Говорил со мной не доктор Динн, а один из двух врачей, которых он прислал в мою палату. Очевидно, они отвечали так резко, чтобы помочь мне с собой справиться, чтобы я не разнюнилась.

Несколько минут они заставляли меня сгибать и разгибать пальцы, пожимать каждому из них поочередно руку. Затем они ушли, велев мне явиться через две недели на проверочный рентген.

В то утро было нашествие врачей. После тех двух явился кардиолог, затем доктор Дулен. Я слонялась по комнате, уставленной цветами, в синей суконной юбке и помятой белой блузке. Блузка пострадала, когда кардиолог выслушивал мое сердце, по его словам — «вполне доброкачественное». Я думала о своих руках, которые скоро увижу без перчаток, когда останусь одна. Я думала о том, что хожу на высоких каблуках и что сейчас это кажется мне естественным; а ведь если не все начисто стерлось из моей памяти, если я как бы превратилась в пятилетнюю девочку, то разве не должны были бы удивлять меня мои туфли на высоких

каблуках, цветы, губная помада?

— Вы мне надоели, — сказал доктор Дулен. — Я вам раз десять повторял, что нечего вам приходить в восторг по поводу всякой такой дребедени. Если я вас сейчас приглашу со мной пообедать и вы будете правильно держать вилку в руке, то что это доказывает? Что ваши руки лучше помнят, чем вы? ну, а если я даже посажу вас за баранку в мою машину и мотор будет у вас сначала немного барахлить при переводе скоростей, поскольку вы не привыкли к «403», а потом вы все же поведете машину более или менее сносно, то, как вы думаете, нам с вами это даст что-нибудь новое?

— Не знаю. Вы должны были бы это мне объяснить.

— Я должен был бы, кроме того, задержать вас еще на несколько дней в больнице. К несчастью, вас непременно хотят забрать. У меня нет никаких законных оснований задерживать вас здесь, если только вы сами этого не захотите. И я даже не знаю, вправе ли я вас об этом просить.

— Кто же это хочет меня забрать?

— Жанна Мюрно. Говорит, ей «это больше нелегко».

— Я ее увижу?

— А почему, по-вашему, здесь все пошло вверх дном?

Не глядя, он обвел рукой мою комнату: дверь стояла настежь открытая, сестра Раймонда укладывала мою одежду, другая сиделка выносила бутылки с шампанским, стопки книг, которые мне так и не успели прочесть.

— Почему вы хотите, чтобы я осталась?

— Вы уходите отсюда с приятным личиком, с хорошо налаженным сердечком, с руками, которые будут вас слушаться, ваша третья левая лобная извилина, по всей видимости, чувствует себя прелестно, но я-то надеялся, что вы уедете, увозя с собой и восстановленную память.

— Третья что?

— Третья лобная извилина. Мозговая. Левая. Оттуда-то и было ваше первое кровотечение. Потеря речи, которую я наблюдал в начале болезни, должна была произтекать оттуда. Ко всему прочему это не имеет никакого отношения.

— А что такое «все прочее»?

— Не знаю. Может быть, просто страх, который вы должны были ощущать во время пожара. Или шок. Когда дом загорелся вы бросились бежать в сад. вас нашли на нижних ступеньках лестницы с проломом черепа, сантиметров десять с лишком. И все же амнезия, которой вы страдаете, не связана с каким-либо повреждением черепа. Сначала я считал, что она с этим связана, но тут что-то другое.

Я сидела на своей незастланной кровати, держа руки в перчатках на коленях. Я сказала ему, что хочу уехать отсюда, что уж мне-то тем более «нелегко». Когда я увижу Жанну Мюрно, поговорю с ней, тогда все и восстановится.

Он развел руками, как бы покоряясь судьбе.

— Сегодня после 12-ти она будет здесь. Она, конечно, захочет увезти вас немедленно. Если вы останетесь в Париже, я приму вас либо в больнице, либо у себя. Если же она увезет вас на юг, то вы непременно должны пригласить доктора Шавера.

Он был огорчен, обижен, и я это понимала. Я сказала, что обещаю показываться ему часто, если же я буду жить в этой же комнате, то в конце концов сойду с ума.

— Вряд-ли, — ответил он. — Вам угрожает другое. Вы способны сказать себе: «Ну и пусть я ничего не помню, у меня еще уйма времени впереди, я накоплю новые воспоминания». Вот это было бы настоящим безумием, и впоследствии вы пожалели бы о таком решении.

Он ушел, оставив меня наедине с этой мыслью, которая действительно уже приходила мне в голову. С тех пор, как я обрела лицо, меня не так мучила пропажа пятнадцати лет жизни, стертых из памяти. Не прошла (правда, вполне терпимая) боль в затылке и тяжесть в голове, но ведь и это пройдет. Когда я смотрела на себя в зеркало, я была я, у меня были раскосые глаза китайского божка, за стенами больницы меня ждала жизнь, я была счастлива и очень себе нравилась. Шут с ней, с «прежней», раз я теперь вот такая!

— Ну и до чего же все просто, когда я вижу себя в зеркале: я ужасно себе нравлюсь, я прямо-таки без ума от себя!

Так говорила я сестре Раймонде, делая пируэт за пируэтом и стараясь, чтобы моя широкая юбка стояла колоколом. Но неокрепшие ноги не разделяли моего восторга, я зашаталась и, остановившись, замерла, пораженная: Жанна здесь!

Она стояла, держась за ручку двери; на ее бежевом костюме играло солнце; лицо у нее было какое-то

странное, застывшее, а волосы светлее, чем я думала. Кроме того, фотографии не давали представления о ее росте. Жанна была необыкновенно высокая — почти на голову выше меня.

Ее черты, ее облик действительно не совсем были мне незнакомы. И на секунду почудилось, что прошлое встает передо мной, сливаясь в одну огромную волну, и сейчас раздавит меня своей тяжестью. Наверное, у меня помутилось в голове оттого, что я кружилась, а может, на меня подействовало неожиданное появление женщины, которая была так знакома, словно когда-то приснилась мне. Я упала на кровать, невольно прикрывая своими руками в перчатках лицо и волосы, точно стыдилась их.

Через минуту, когда сестра Раймонда, не желая быть нескромной, вышла из комнаты, я услышала голос Жанны, мягкий, глубокий и знакомый, как ее взгляд; затем она подошла и обняла меня.

— Не плачь.

— Никак не могу перестать.

Я поцеловала ее в щеку, потом в шею, мне было жаль, что я не могу потрогать ее руками без перчаток, я узнавала даже запах ее духов — ведь он тоже когда-то мне снился. Припав головой к ее груди, стыдясь своих волос, которые ее легкая рука осторожно перебирала, обнажая скрытые под ними шрамы, я сказала, что я несчастна, что хочу с ней уехать, что она, наверное, и не знает, как я ее ждала.

— Дай же поглядеть на тебя.

Я не давалась, но она заставила меня поднять голову, и ее глаза, смотревшие в упор, снова внушили мне уверенность, что все еще вернется. Глаза у нее были очень светлые, с золотым отливом, но в глубине их мелькало что-то, похожее на сомнение.

Жанна тоже знакомилась со мною заново. Ее взгляд блуждал по моему лицу, она внимательно меня изучала. Мне стало невмочь переносить этот розыск, это опознавание во мне некой пропавшей девушки. Схватив Жанну за руки и плача еще горше, я оттолкнула ее от себя.

— Увезите меня отсюда, пожалуйста! Не смотрите на меня. Это я, Ми! Не смотрите же на меня!

Она стала целовать мои волосы, называя меня своей миленькой, цыпленочком, ангелом. Потом пришел доктор Динн, увидев мои слезы, смутился и еще больше смутился, увидев, когда Жанна встала, какая она огромная — она была выше всех, кто находился в комнате, выше доктора Динна, его ассистентов и сестры Раймонды.

Медики напутствовали меня советами на будущее, долго делились своими опасениями по поводу моего здоровья, которые я не слушала, не желала слушать. Я стояла, прижавшись к Жанне. Она обняла меня за плечи, а с медиками говорила тоном королевы, которая забирает свое дитя, свою Ми, и мне было хорошо, я больше ничего не боялась.

Она сама застегнула мне пальто, замшевое, которое я, наверное, уже носила, потому что оно залоснилось на рукавах. Она сама надела на меня берет, повязала на шею зеленый шелковый шарф. Она сама повела меня по коридорам клиники к стеклянной двери, сквозь которую пробивались ослепительные солнечные блики.

На улице стояла белая машина с черным верхом. Жанна усадила меня на переднее сиденье, захлопнула дверцу и, обойдя машину, села рядом со мною за руль.

Она была спокойна, молчалива, только время от времени поглядывала и, улыбаясь, быстро целовала меня в висок.

И вот мы уехали. Гравий под колесами. Открывающийся перед нами портал. Огромные аллеи, деревья по бокам.

— Это Булонский лес, — сказала Жанна.

Я устала. Глаза слипались. Я почувствовала, что соскальзываю, что лежу щекой на пушистой Жанниной юбке. Совсем близко от себя я увидела краешек движущегося руля. Я живая, и это чудесно. Я заснула.

Проснувшись я на низком диване, укрытая до пояса пледом в крупную красную клетку, в огромной комнате, где на столах горели лампы, которые не могли рассеять мрак, притаившийся в углах.

В высоком камине пылал огонь, шагах в тридцати от меня, очень далеко. Я встала, мучительней обычного ощущая давящую тяжесть пустоты в своей голове. Я подошла к камину, подвинула кресло и, опустившись в него, погрузилась в забытие.

Позднее я узнала, что надо мной наклонялась Жанна. Я услышала ее голос, чей-то шепот. Потом мне вдруг померещилось, будто здесь крестная Мидоля, я ее вспомнила, ее катят мне навстречу в кресле на колесиках, в оранжевой шали на плечах, безобразную, страшную... Я открыла глаза, еще не совсем очнувшись от забытья, когда все еще видится сквозь какую-то муть, точно сквозь стекло, заливаемое дождем.

Но мир обрел ясность. Надо мной были светлые волосы, светлое лицо Жанны. Мне подумалось, что она, вероятно, долго на меня смотрела.

— Ты хорошо себя чувствуешь?

Я ответила, что чувствую себя хорошо, и протянула к ней руки, чтобы быть к ней поближе. За ее волосами, касавшимися моей щеки, я увидела огромную комнату, стены, обшитые панелями, лампы, притаившийся в углах мрак, диван, с которого я перебралась сюда. Плед лежал на моих коленях.

— Где я, здесь что?

— Дом, которым мне временно разрешили пользоваться. Я тебе потом объясню. Ты хорошо себя чувствуешь? Ты заснула в машине.

— Мне холодно.

— Я сняла с тебя пальто. Не надо было. Погоди.

Прижав меня крепче к себе, она энергично растирала мне то плечи, то поясницу, чтобы я согрелась. Я засмеялась. Она отпрянула, лицо ее стало замкнутым, и я снова увидела сомнение в глубине ее глаз. Потом она вдруг тоже засмеялась и подала мне чашку, которая стояла на ковре.

— Пей. Это чай.

— Я долго спала?

— Три часа. Пей.

— Мы одни здесь?

— Нет. Здесь еще есть кухарка и слуга. Они совсем потеряли голову. Пей. Они до сих пор опомниться не могут от того, каким манером я притащила тебя из машины. Ты ведь похудела. Я несла тебя на руках. Придется принять серьезные меры, чтобы ты нагуляла себе щеки. Когда ты была маленькая, именно я, рискуя навлечь на себя твою ненависть, заставляла тебя есть.

— Я ненавидела вас?

— Пей. Нет, ты меня не ненавидела. Тебе было тринадцать лет. У тебя торчали ребра. Ты и представить себе не можешь, как мне было стыдно за твои ребра. Ну, будешь ты пить или нет?

Я залпом проглотила свой уже остывший чай, вкус которого был мне знаком, хоть и не очень нравился.

— Ты не любишь чай?

— Да так себе, скорее — нет.

— А прежде любила.

Отныне мне всегда будет сопутствовать это словечко «прежде». Я сказала Жанне, что в клинике мне последнее время разрешали понемножку пить кофе, и я от него лучше себя чувствую. Склонившись над моим креслом, Жанна обещала давать мне все, чего я захочу: ведь я с ней, я жива, и это главное.

— А только что в клинике вы меня не узнали, правда?

— Нет, узнала. Но прошу тебя, не говори мне «вы».

— Ты меня узнала?

— Ты мой птенчик, — сказала она. — Впервые я увидела тебя, когда встречала на аэродроме в Риме. Ты была совсем маленькая, с большим чемоданом. И такая же растерянная, как сейчас. А твоя крестная сказала: «Мюрно, если она не потолстеет, получишь расчет». Я тебя кормила, одевала, мыла, учила итальянскому, играть в теннис, в шашки, танцевать чарльстон — всему на свете. И даже два раза выпорола — этим ты тоже обязана мне. С тринадцати до восемнадцати лет ты со мной не расставалась, разве что дня на три, не больше. Ты была мне как родная дочь. А твоя крестная говорила: «это твоя служба». И теперь я начну ее сначала. А если ты не станешь такой, как прежде, я сама себе дам расчет.

Она слушала мой смех, не сводя с меня изучающего и такого упорного взгляда, что я сразу осеклась.

— Ты что?

— Ничего, дорогая. Ну-ка, встань.

Взяв меня под руку, она помогла мне встать и попросила походить по комнате, сама отошла в сторону, наблюдая за мной издали. Я сделала несколько неверных шагов по комнате, чувствуя мучительную пустоту в затылке и тяжесть в ногах, которые были как свинцом налиты.

Когда Жанна снова подошла ко мне, я подумала: «она, верно, пытается скрыть смятение, чтобы меня не расстраивать». Ей действительно удалось изобразить на своем лице доверчивую улыбку, словно я всегда была такой: скулы торчат, нос короткий, волосенки реденькие. Где-то в доме часы пробили семь.

— Я очень переменилась? — спросила я.

— Лицо стало другим. К тому же ты устала, не удивительно, что движения и походка у тебя сейчас не такие, как прежде. Мне тоже придется к этому привыкать.

— Как это случилось?

— Потом, дорогая.

— Я хочу себя вспомнить. Себя, тебя, тетю Мидоля, отца, других. Я хочу вспомнить.

— Ты вспомнишь.

— Почему мы здесь? Почему бы сразу не отвезти меня в такое место, которое я знаю и где все меня знают?

На этот вопрос Жанна ответила только через три дня. А сейчас она обняла меня и, прижав к себе, покачивалась вместе со мной, точно баюкала меня, называла своей доченькой, уверяла, что теперь никто меня больше не обидит, потому что она больше никогда не оставит меня одну.

— Ты меня оставила одну?

— Пришлось. Мне нужно было съездить в Ниццу по делам твоей тетки. А когда я вернулась на виллу, я нашла тебя полумертвою под лестницей. Я с ума сходила, пока мне не удалось вызвать машину для перевозки больных, врачей, полицию.

Мы с Жанной разговаривали сейчас в другой огромной комнате — в столовой, обставленной темной мебелью, где от одного конца стола до другого было шагов десять. Мы сидели рядом. На плечах у меня был все тот же клетчатый плед.

— Долго я пробыла на мысе Кадэ?

— Три недели, — ответила Жанна. — Первые несколько дней я провела с вами обеими.

— Обеими?

— С тобой и девушкой, с которой ты дружила. Если ты решила ничего не есть, я перестану рассказывать.

За каждый съеденный кусок бифштекса мне полагался кусок прошлого, я глотала их вперемежку. Вот такой обмен устроили мы с Жанной, сидя бок о бок в столовой огромного мрачного дома в Нейи, где подавала нам кухарка, незаметная и бесшумная, которая называла Жанну попросту «Мюрно», без добавления «мадемуазель» или «мадам».

— Эта девушка была твоей подругой детства, — продолжала Жанна. — Вы росли в одном доме, в Ницце. Ее мать ходила стирать белье к твоей маме. Когда вам было лет по восемь-девять, вы расстались и встретились снова только в феврале этого года. Она работала в Париже. Ты к ней привязалась. звали ее Доменика Лои.

Жанна зорко следила за мной, ловя на моем лице хоть какой-нибудь признак того, что я вспоминаю этот кусок прошлого. Никакой надежды! Она рассказывала о людях, участь которых меня пугала и печалила, но сами по себе эти люди были мне чужды.

— Так эта-то девушка и умерла?

— Да. Ее нашли в той части виллы, что сгорела. Ты, по всей видимости, пыталась вытащить Доменику из ее комнаты, пока сама не получила ожоги. На тебе загорелась ночная рубашка. Ты, должно быть, хотела побежать к бассейну, в саду есть бассейн. Через полчаса я обнаружила тебя внизу под лестницей. Было два часа ночи. Прибежали какие-то люди в пижамах, но боялись тебя трогать, растерялись, не знали, что делать. Сразу же вслед за мной примчались пожарные из Лека. Они-то и отвезли тебя в Ля-Сьота, в лазарет при верфи. Ночью можно было получить машину для перевозки больных только из Марселя. В конце концов прислали вертолет. Тебя доставили в Ниццу. Оперировали на другой день.

— Что со мной было?

— Ты, должно быть, упала на нижних ступеньках лестницы, когда выбежала из дому. Если только не предположить, что ты хотела спуститься из окна и сорвалась. Следствие ничего нам не дало. Как бы то ни было, установлено, что ты упала вниз головой на лестницу, получила ожоги лица и рук. На теле тоже были ожоги, но не такие тяжелые, ночная рубашка тебя кое-как все же защитила. Пожарные мне на этот счет что-то толковали, но я забыла. Ты лежала голая, вся черная, с головы до пят, а в руках и во рту у тебя были ключья обуглившейся материи. И ни одного волоса на голове. Люди, которых я застала подле тебя, думали, ты мертвая. На темени у тебя была дырища с мою ладонь. Больше всего хлопот в ту первую ночь наделала нам именно эта рана. Потом, после операции доктора Шавера, я подписала документ, по которому обязывалась дать кожу для пересадки: у тебя ткани не восстанавливались.

Жанна рассказывала, не глядя на меня. Каждая ее фраза раскаленным буравом вбивалась в мой мозг. Отодвинувшись вместе со стулом от стола, Жанна откинула подол своей юбки. Я увидела на ее правой ляжке, над чулком, коричневый квадрат: след от пересадки ткани.

Я схватилась за голову — на мне были все те же неснимаемые перчатки — и заплакала. Рука Жанны легла на мое плечо, и мы сидели так долго, пока не пришла кухарка и не поставила на стол поднос с фруктами.

— Я рассказываю тебе об этом, потому что так нужно, — сказала Жанна.

— Нужно, чтобы ты это знала и вспомнила.

— Я понимаю.

— Ты здесь, жива, с тобой ничего больше не случится. Значит, то, что было, уже не страшно.

— Отчего дом загорелся?

Она встала. Юбка ее расправилась, прикрыв след на ляжке. Жанна подошла к буфету, зажгла спичку, прикурила. С секунду подержала горящую спичку, показывая ее мне.

— Утечка газа в комнате той девушки. За несколько месяцев до пожара на вилле провели газ. Следствие пришло к заключению, что проводка в одном месте оказалась недоброкачественной. Источник взрыва — неисправная горелка колонки в одной из ванных.

Она погасила спичку.

— Подойди ко мне, — сказала я Жанне.

Она подошла, села со мной. Я взяла из ее руки сигарету и затянулась. Вроде бы приятно.

— Я прежде курила?

— Ну-ка, встань, — сказала Жанна. — Поехали гулять. Возьми на дорогу яблоко. Вытри глаза.

В спальне с низким потолком, где стояла такая широкая кровать, что на ней в случае нужды поместились бы четыре Мишели, Жанна нарядила меня в толстый пуловер с глухим воротником, замшевое пальто и зеленый шарф.

Мы вышли в сад с черными деревьями; Жанна усадила меня в машину, на которой мы приехали сюда днем.

— В десять часов я уложу тебя в постель. Но прежде хочу тебе кое-что показать. Через несколько дней ты у меня будешь водить машину.

— Пожалуйста, скажи мне еще раз имя и фамилию той девушки!

— Доменика Лои. Вообще-то ее все звали До. А когда вы были маленькие, вы играли втроем еще с одной девочкой, она умерла рано, кажется, от суставного ревматизма или чего-то в этом роде. Вас называли кузинами, может, потому, что вы росли вместе. К тому же вы все три родом из Италии: Ми, До и Ля. Третью подружку звали Анджела. Поняла теперь, откуда взялось прозвище твоей тетки?

Жанна вела машину на большой скорости по широким, ярко освещенным улицам.

— Имя и фамилия твоей тетки — Сандра Рафферми. Она сестра твоей матери.

— Когда умерла моя мама?

— Тебе было тогда лет восемь-девять, точно не помню. Тебя поместили в пансион. Через четыре года тетка настояла, чтобы тебя отдали ей. В молодости — рано или поздно ты это все равно узнаешь — она занималась не очень-то почтенным делом. Но к тому времени она стала важной дамой, разбогатела. Туфли, которые мы с тобой носим, делаются на фабриках твоей тетки.

Положив руку мне на колено, Жанна добавила, что, если угодно, фабрики эти можно назвать моими: Рафферми-то померла.

— Ты не любила мою тетку?

— Не знаю, — ответила Жанна. — Я люблю тебя. Остальное меня не трогает. Восемнадцати лет я начала работать на Рафферми: стала каблучным мастером в цехе ее фабрики во Флоренции. Я жила одна, зарабатывала себе на хлеб как могла. Было это в сорок втором. Пришла она как-то в цех, и первой наградой за мои труды была оплеуха; впрочем, эту оплеуху я ей тут же вернула. Вот тогда она и взяла меня к себе. А последним ее подарком была тоже оплеуха, но на этот раз я не дала сдачи. Случилось это в мае нынешнего года, за неделю до ее смерти. Временами она создавала, что умирает, но от этого не становилась добрее к окружающим.

— Я любила тетю Мидоля?

— Нет.

Целую минуту я молчала, тщетно стараясь представить себе, как живую, ту женщину, чье лицо я знала по фотографии, — старуху в пенсне, сидящую в кресле на колесиках.

— Я любила Доменику Лои?

— Кто ж ее не любил? — ответила Жанна.

— А тебя я любила?

Она обернулась: я встретила ее взгляд, в котором дрожали огоньки мелькавших мимо фонарей. Она пожала плечами и резким тоном ответила, что скоро мы будем дома. И вдруг мне стало больно, так больно, точно я самое себя ранила, я взяла Жанну за руку. Машина дернулась и описала дугу. «Прости», — сказала я, и Жанна, наверное, подумала, что я прошу прощения за эту дугу.

Она показала мне Триумфальную арку, площадь Согласия, дворец Тюильри, Сену. Миновав площадь Мобера,

мы остановились в маленькой улочке, которая вела к реке, подле гостиницы, освещенной неоновой надписью: «Гостиница Виктория».

Мы остались в машине. Жанна попросила меня посмотреть на гостиницу, но дом этот не вызывал во мне никаких воспоминаний.

— А здесь что? — сказала я.

— Здесь ты часто бывала. В этой гостинице жила До.

— Поедем домой, пожалуйста!

Жанна вздохнула, сказала «хорошо» и чмокнула меня в висок. По дороге я притворилась спящей, уткнулась лицом в Жаннину юбку.

Дома она меня раздела, велела принять ванну, потом растерла махровым полотенцем и протянула мне пару трикотажных перчаток вместо промокших, которые я не сняла, даже купаясь.

Мы присели на край ванны — она была в платье, я в ночной рубашке. Она сняла с меня мокрые перчатки, и когда я увидела свои руки, я отвела глаза.

Она уложила меня на широкую кровать в спальне, подогнула одеяло и погасила лампу, — ровно в десять часов, как и обещала. После того как Жанна увидела следы ожогов на моем теле, она стала какая-то странная. А мне она только сказала, что следов осталось немного: одно пятно на спине и два на ляжках, и вообще — я похудела. Я чувствовала, что она все меньше и меньше узнает во мне прежнюю Ми, хоть и старается держаться непринужденно.

— Не уходи. Я отвыкла быть одна, мне страшно.

Она села у кровати и немного побыла со мной. Я заснула, прижавшись губами к ее руке. Она ничего мне больше не говорила. И вот именно тогда, в преддверии сна, на той зыбкой грани, когда сознание отступает, когда все нелепо и все возможно, у меня впервые возникла мысль, что я не существую вне рассказов Жанны обо мне, и что будь Жанна лгуньей, я была бы ложью.

— Я хочу, чтобы ты объяснила мне все сейчас. Вот уже несколько недель я слышу: «Потом, потом!». Вчера вечером ты говорила, что я не любила свою тетку. Скажи — почему?

— Потому что она была не слишком ласкова.

— Со мною?

— Со всеми.

— Но если она взяла меня к себе, когда мне было тринадцать лет, она должна была меня очень любить.

— А я и не сказала, что она тебя не любила. И потом, ей это вроде бы лестно было. Тебе это не понять. Ты обо всем судишь с одной точки зрения: любит не любит.

— Почему в феврале Доменика Лои стала жить у меня?

— В феврале вы с ней встретились. И только очень нескоро после этого она к тебе переселилась. А почему — знаешь одна ты! Ну чего ты от меня хочешь, что я могу о тебе сказать? Каждые три дня у тебя бывала какая-нибудь новая блажь: то собака, то машина, то американский поэт, то Доменика Лои — и всегда одна только дурь. Когда тебе было восемнадцать лет, я однажды нашла тебя в Женеве, в номере гостиницы, с каким-то счетоводом. А когда тебе было двадцать, я нашла тебя в другой гостинице с Доменикой Лои.

— Какую роль она играла в моей жизни?

— Рабыни, как все.

— Как и ты?

— Как и я.

— А что там произошло?

— Ничего. Что, по-твоему, могло произойти? Ты бросила мне в голову чемодан, потом вазу, за которую мне пришлось заплатить — и очень дорого, — а ты укатила со своей рабыней.

— Где это было?

— В «Резиденте Уошингтон», улица лорда Байрона, четвертый этаж, комната четырнадцатая.

— Куда же я отправилась потом?

— Понятия не имею. Мне было не до этого. Тетка твоя ждала только тебя, чтобы отдать богу душу. Явившись к ней, я получила вторую оплеуху за восемнадцать лет службы. Через неделю она умерла.

— И я туда не поехала?

— Нет. Не скажу, правда, что я ничего о тебе не слышала, — ты натворила столько глупостей, что слухи не могли не доходить до меня, но сама ты с месяц не давала о себе знать. Пока не растратила все деньги. И не

наделала столько долгов, что потеряла кредит даже у своих хахалей. Я получила во Флоренции твою телеграмму:

«Прости, несчастна, денег, целую тысячу раз лобик, глазки, носик, губки, ручки, ножки, будь добренькая, рыдаю, твоя Ми». Клянусь, это текст точный, я тебе его покажу.

Когда я оделась, Жанна показала мне телеграмму. Я прочла ее, стоя на одной ноге, — другую я поставила на стул, и Жанна пристегивала к моему чулку подвязку, чего я в своих перчатках не в состоянии была сделать.

— Идиотская телеграмма.

— И все же, ты тут — как на ладони. А знаешь, ведь были разные телеграммы. Иногда из двух слов: «денег Ми». А иногда в один день приходило пятнадцать телеграмм подряд, причем все об одном и том же. Ты перечисляла мои качества. Или нанизывала, строчку за строчкой, прилагательные, характеризующие ту или другую черту моей особы, а уж выбор слов зависел от твоего настроения. Это было обременительно, и притом очень накладно для промотавшейся идиотки, но зато ты доказала, что у тебя есть фантазия.

— Ты говоришь обо мне так, словно ты меня ненавидела.

— Я ведь не рассказываю тебе, какими словами ты оснащала свои телеграммы. Ты умела делать больно... Другую ногу!... После смерти твоей тетки я не послала тебе денег. Я взяла и приехала... Поставь другую ногу на стул!... Я приехала на мыс Кадэ в воскресенье днем. До самого вечера ты была пьяна — еще с субботы. Я сунула тебя под душ, выгребла из дома хахалей и мусор из пепельниц. Мне помогала До. Три дня подряд ты молчала как убитая. Вот.

Я была готова. Она застегнула мое серое легкое пальто, взяла свое пальто из соседней комнаты, и мы вышли. Все было как в дурном сне. Я уже не верила ни одному слову Жанны.

В машине я заметила, что все еще держу в руке ту телеграмму. Но ведь телеграмма эта как раз и доказывала, что Жанна не солгала. Долгое время мы молчали; далеко впереди, под хмурым небом, маячила Триумфальная арка.

— Куда ты везешь меня?

— К доктору Дулену. Он уже звонил ни свет ни заря. Надоел.

Она покосилась на меня, сказала:

— Ну чего ты, мой цыпленочек, загрустила?

— Мне не хочется быть той Ми, какую ты описываешь. Я не понимаю. Не могу объяснить, откуда я это знаю, но я не такая. Неужели же я могла до такой степени перемениться?

— Да, — ответила Жанна, — ты очень переменилась.

Целых три дня я занималась чтением старых писем, разбирая чемоданы, привезенные Жанной с мыса Кадэ.

Я пыталась проследить свою жизнь во всей ее последовательности, и Жанна, которая не отходила от меня ни на шаг, подчас сама становилась в тупик перед моими открытиями. Так, она не могла объяснить происхождение найденной мною мужской рубашки, маленького револьвера с перламутровой рукояткой, заряженного, — Жанна его никогда не видела; или каких-то писем,

— авторы их были ей неизвестны.

Мало-помалу, несмотря на имевшиеся пробелы, я восстанавливала перед собой свой внутренний облик, и он явно не совпадал с моим нынешним обликом. Я не была так глупа, так тщеславна, так жестока, как прежняя Мишель. Мне ничуть не хотелось ни напиваться, ни бить по щекам не угодившую мне прислугу, ни плясать на крыше автомобиля, ни бросаться в объятия шведского бегуна или первого встречного мальчика, у которого нежные губы. Но все это могло казаться мне необъяснимым после пережитой мною катастрофы, самым поразительным было другое. Особенно невероятной казалась мне моя душевная черствость: узнав о смерти крестной Мидоля, я отправилась кутить в тот же вечер и даже не поехала на похороны.

— И все же ты и в этом остаешься сама собой, — повторяла Жанна. — Да притом никто же не говорит, что у тебя нет сердца. Ты могла чувствовать себя очень несчастной. Это выражалось в припадках нелепого гнева, а в последние два года в потребности быть с кем угодно, только бы не в одиночестве. В глубине души ты, наверное, думала, что все кругом сплошной обман. Когда нам тринадцать лет, это называют разными красивыми словами: жажда нежности, сиротская доля, тоска по материнскому теплу. А когда нам восемнадцать, вместо красивых слов употребляют отвратительные медицинские термины.

— Что же я такое ужасное сделала?

— Это было не ужасно, это было наивно.

— Ты никогда не отвечаешь на мои вопросы! Заставляешь меня предполагать черт знает что, и я поневоле, конечно же, воображаю всякие гадости! Ты делаешь это нарочно!

— Пей свой кофе, — отвечала Жанна.

Сейчас облик и поведение Жанны тоже не вязались с тем представлением о ней, какое создалось у меня в первый день и вечер нашей встречи. Она стала замкнутой, час от часу отдалялась от меня все больше. Что-то в моих словах, в моих поступках ее отталкивало, и мне было ясно, что ее это мучит. Она долго и молча разглядывала меня, иногда несколько минут подряд, затем начинала вдруг быстро говорить, постоянно возвращаясь к рассказу о пожаре, либо о том дне, за месяц до несчастья, когда она застала меня пьяной на мысе Кадэ.

— Самое правильное было бы, если бы я туда поехала!

— Через несколько дней поедем.

— Я хочу видеть отца. Почему мне нельзя видеть тех людей, которых я знала Прежде?

— Твой отец в Ницце. Он стар. Встреча с тобой, когда ты в таком состоянии, ничего хорошего ему не сулит.

Что до прочих, то я предпочитаю еще немножко подождать.

— А я — нет.

— А я — да. Послушай, мой цыпленочек: пройдет день — другой, и все, может быть, сразу восстановится. Ты думаешь, мне легко не давать твоему отцу с тобой встретиться? Он считает, что ты еще в клинике. Думаешь, мне легко отгонять от тебя всех этих шакалов? Я ведь хочу, что бы ты успела выздороветь к тому времени, как с ними встретишься.

Выздороветь... Я уже столько узнала о себе, ничего при этом не вспомнив, что изверилась в своем выздоровлении. А у доктора Дулена меня ждало все то же: уколы, игры с кусочками проволоки, режущий глаз свет ламп, автоматическое письмо. Мне делали укол в правую руку и заслоняли ее небольшим щитом, чтобы я не видела того, что пишу. Я не чувствовала ни карандаша в своих пальцах, вложенного врачом, ни того, как вожу рукой. Пока я безотчетно выполняла свое задание, доктор Дулен и его ассистенты беседовали со мной о южном солнце и прелестях приморья. Из этого, дважды производившегося опыта с автоматическим письмом мы ничего не вынесли, разве что почерк у меня ужасно изменился от постоянного ношения перчаток.

Доктор Дулен, которому я сейчас верила не больше, чем Жанне, уверял, что эти сеансы якобы освобождают от чувства тревоги мое «подсознание», а оно-то все и помнит. Я прочла «написанные» мною страницы. Они представляли собой набор бессвязных, незаконченных слов, большей частью получившихся, по выражению Дулена, от «столкновения поездов», как в худшие дни моего пребывания в клинике. Чаше всего встречались слова одного порядка: «нос», «глаза», «рот», «руки», «волосы», так что мне казалось, будто я читаю свою телеграмму Жанне.

Это было идиотское занятие.

На четвертый день у нас с Жанной произошел крупный разговор. Кухарка была на другом конце дома, слуга куда-то ушел. Мы с Жанной сидели в креслах у камина в гостиной, потому что я постоянно зябла. Было около пяти часов дня. В одной руке я держала письма и фотографии, в другой — пустую кофейную чашку.

Жанна, бледная, с кругами под глазами, курила и — в который раз! — отказывалась позволить мне увидеться с прежними знакомыми.

— Я этого не хочу, вот и все. Кто, по-твоему, твои прежние знакомые? Ангелы, сошедшие с небес? Да они же не упустят такую легкую добычу, как ты.

— Это я-то добыча? Но с какой точки зрения?

— С той точки зрения, которая выражается цифрами с большим количеством нолей. Тебе исполняется двадцать один год в ноябре. К тому времени будет вскрыто завещание Рафферми. Но вскрывать его необязательно, чтобы подсчитать, сколько миллиардов лир перейдет в твои руки.

— Надо же было все это мне объяснить.

— Я думала, ты знаешь.

— Я ничего, решительно ничего не знаю! Ты-то понимаешь, что я ничего не знаю!

Тут она совершила свою первую оплошность:

— Я уже перестала понимать, что ты знаешь и чего ты не знаешь! Я просто теряю голову. Не сплю по ночам. В сущности, тебе так легко играть комедию!

Жанна швырнула свою сигарету в огонь. Я поднялась с кресла, в эту минуту часы в прихожей пробили пять.

— Комедию? Какую комедию?

— А потеря памяти! — ответила она. — Это ведь хорошая выдумка, очень хорошая выдумка! Никаких внешних повреждений, никаких следов от этой болезни нет. Но кто может утверждать, что больная амнезией на самом деле не больна, кроме нее самой?

Она тоже вскочила, сейчас она была неузнаваема. И вдруг снова стала Жанной: стройная женщина в широкой юбке, огромная, на голову выше меня, светловолосая, глаза с золотой искоркой, спокойное лицо.

— Миленькая моя, я сама не знаю, что говорю!

Но моя правая рука размахнулась прежде, чем эти слова дошли до моего сознания. Я ударила Жанну в уголок рта.

Внезапно острая боль пронзила затылок, я зашаталась и повалилась ничком на Жанну. Она подхватила меня и крепко прижала к груди, не давая пошевелиться. Но мои руки были как свинцом налиты, я бы и не могла вырваться.

— Успокойся, — говорила она.

— Пусти меня! Зачем бы я стала играть комедию? Зачем? Ну! Хоть это ты скажешь мне, а?

— Успокойся, прошу тебя!

— Да, пусть я дура, ты слишком часто это мне говорила! Но не такая уж я дура! Так зачем же я ломаю комедию? Объясни! Пусти меня!

— Успокойся же наконец! Не кричи!

Повернув меня к себе спиной, она опустила вместе со мной в кресло, так, что я оказалась у нее на коленях, и, дыша мне в затылок, зашептала:

— Я ничего не говорила. А может, сказала вздор. Все эти три дня я схожу с ума. А ты не замечаешь!

Тут она совершила вторую оплошность: яростным шепотом, который был страшнее крика, она сказала:

— Не могла же ты помимо своей воли сделать такие успехи за три дня! Если ты ничего не помнишь, как же ты можешь ходить, смеяться, говорить точь-в-точь как она?

Из моего зажатого рта вырвался вопль, на миг меня захлестнула тьма, и когда я очнулась, я лежала навзничь на ковре. Склонившись надо мною, Жанна прикладывала к моему лбу влажный носовой платок.

— Не шевелись, миленькая.

Я увидела на ее лице след от моего удара, по складке у рта стекала тоненькая струйка крови. Так это мне не померещилось? Я не сводила глаз с Жанны, а она расстегивала пояс моей юбки и, обняв меня, усаживала. Ей тоже было страшно.

— Пей, миленькая!

Я залпом выпила что-то очень крепкое. Мне стало лучше. Я смотрела на нее и сейчас была спокойна. «а ведь правда, — говорила я себе, — теперь-то я уже способна играть комедию». Когда она, стоя на коленях передо мной на ковре, привлекла меня к себе: «ну, давай помиримся!» — я машинально обняла ее за шею. Но я была потрясена и почти готова относиться к ней по-прежнему, когда ощутила на своих губах соленый вкус ее слез.

Заснула я поздней ночью. Долгие часы, неподвижно лежа в постели, я думала над словами Жанны, стараясь угадать, что именно с ее точки зрения могло побудить меня симулировать амнезию. Этому я не нашла никакого объяснения, равно как и разгадки ее волнений. Однако я была уверена, что у Жанны есть основательные причины держать меня вдали от людей, в доме, где меня никогда не видели ни слуга, ни кухарка. А побуждения Жанны станут мне известны хоть завтра: она не хочет показывать меня моим бывшим знакомым, поэтому стоит мне явиться к кому-нибудь из них, чтобы произошло именно то, чего Жанна хочет избежать. Зато мне станет все ясно.

Я решила разыскать кого-нибудь из своих прежних друзей. Мой выбор пал на молодого человека, который заверял меня в своем письме, что я принадлежу ему на веки, — адрес его был указан на обороте конверта.

Его звали Франсуа Шанс, жил он на бульваре Сюше. По словам Жанны, он

— адвокат и, несмотря на свою фамилию, не имел ни единого шанса на успех у той Ми, какой я была когда-то. Засыпая, я раз двадцать пережила в воображении свой завтрашний побег от Жанны, план которого составила.

Я хлопнула дверцей.

— Да ты с ума сошла. Подожди же!

Она тоже выскочила из машины и нагнала меня на тротуаре. Я отвела ее протянутую руку.

— Я прекрасно справлюсь сама. Я только хочу немного походить, поглядеть витрины, побыть одной! Неужели ты не понимаешь, что мне надо побыть одной?

Я показала на папку, которую держала в руке. Оттуда высыпались на тротуар газетные вырезки. Жанна помогла мне их собрать: это были статьи, появившиеся после пожара. Их дал мне доктор Дулен, проделав свой обычный сеанс со светом и тестами на красочные пятна, после чего у меня осталось только ощущение бесплодной усталости. Еще один час ушел впустую, лучше бы я потратила его на что-нибудь другое — призналась бы Дулену в своих подлинных, а не мнимых опасениях. К несчастью, Жанна считала нужным

присутствовать при наших беседах.

Она обняла меня за плечи — высокая, элегантная, волосы ее отливали золотом в лучах полуденного солнца. Я снова отвела ее руку.

— Это неразумно, дорогая, — сказала она. Ведь у нас скоро второй завтрак. А потом я покатаю тебя по Булонскому лесу.

— Нет. Пожалуйста, Жанна. Мне так это нужно.

— Хорошо. Тогда я поеду сзади.

Жанна вернулась в машину. Она была недовольна, но, против моего ожидания, не разозлилась. Я прошла метров сто по тротуару, столкнулась с гурьбой девушек, выходивших из конторы или с фабрики, перешла через улицу и остановилась у бельевого магазина. Оглянувшись, я увидела наш «Фиат», который остановился во втором ряду потока экипажей, неподалеку от меня. Я пробралась к Жанне. Она опустила стекло и перегнулась через пустое сиденье рядом с собой.

— Гони монету, — сказала я.

— Зачем?

— Хочу купить кое-какие вещички.

— В этой лавочке? Да я могу повезти тебя в гораздо лучшие магазины.

— А я хочу сюда. Гони монету. Побольше. Мне нужно уйму вещей.

Жанна только подняла брови, покоряясь судьбе. Открыв свою сумку, она вынула все имеющиеся там кредитки и протянула их мне.

— Ты не хочешь, чтобы я помогла тебе выбрать? Никто лучше меня не знает, что тебе идет.

— Я прекрасно справлюсь сама.

Входя в лавку я услышала за собой голос Жанны: «миленькая, не забудь, размер сорок второй! «Продавщице, встретившей меня у порога, я велела дать мне платье, висевшее на деревянном манекене, и комбинации, белье и пуловер с витрины.

Я сказала, что у меня нет времени мерить платье, и попросила упаковать все отдельными свертками. Затем я отворила дверь и позвала Жанну. Она вышла из машины, лицо к ней было усталое.

— Мне не хватает денег. Ты не дашь мне чек?

Жанна направилась к магазину, я пропустила ее вперед. Пока она выписывала чек, я взяла те покупки, которые продавщица успела уже упаковать, и, сказав, что отнесу их в машину, вышла.

В машине, на приборной доске, я оставила записку, заранее положенную в карман пальто:

«Жанна, не волнуйся, не устраивай погони за мною, я вернусь домой или позвоню по телефону. Тебе нечего меня бояться. Я не знаю, чего ты боишься, и все же целую тебя в ушибленный краешек рта, потому что люблю тебя, и мне больно, что я это сделала, что я стала походить на твою ложь обо мне».

Когда я отошла от нашего «Фиата», меня нагнал полицейский и сказал, что автомобиль нельзя останавливать посреди мостовой.

Я ответила, что машина не моя и меня это не касается.

3

Такси доставило меня на бульвар Сюше, к дому с широкими окнами, очевидно недавно выстроенному. На табличке у парадного я прочла фамилию. Я поднялась на четвертый этаж пешком — лифта я почему-то боялась — и, не раздумывая, позвонила. Друг, любовник, воздыхатель, «шакал», — не все ли равно?

Дверь отворил неизвестный мне человек лет тридцати, в сером костюме, с приятной внешностью. Из квартиры доносились спорящие голоса.

— Франсуа Шанс?

— Он обычно завтракает не дома. Вы хотели бы его видеть? Он не предупредил меня, что у него назначено свидание.

— Я не назначала свидания.

Поколебавшись и оставив дверь на лестничную площадку открытой, он впустил меня в большую прихожую с голыми стенами, без всякой мебели. Ничто в этом человеке не вызвало во мне ощущения, что мы с ним когда-либо встречались; между тем он как-то странно оглядывал меня с головы до ног. Я спросила, кто он

такой.

— То есть, как это, кто я такой? А вы кто?

— Я Мишель Изоля. Только что вышла из больницы. Я знакомая Франсуа, хотела бы с ним поговорить.

Мой собеседник явно знал Мишель Изоля — это было видно по его растерянному взгляду. Он попятился, с сомнением дважды покачал головой, потом сказал «извините» и бросился бегом в одну из комнат в глубине квартиры. Оттуда он появился в сопровождении другого господина, который был старше его, полнее, не так эффектен, и выскочил с салфеткой в руке и непрожеванным куском за щекой.

— Мики!

Ему, вероятно, уже стукнуло пятьдесят, волосы на висках у него были жидкие, лицо одутловатое. Сунув свою салфетку молодому человеку, который меня впустил, он поспешил мне навстречу.

— Входи, не будем же мы здесь стоять. Почему ты не позвонила по телефону? Входи же.

Он втолкнул меня в комнату и запер дверь. Положив руки мне на плечи, он внимательно меня рассматривал. Несколько секунд пришлось мне терпеть этот осмотр.

— М-да, вот это сюрприз так сюрприз! Я, разумеется, узнал бы тебя с трудом, но выглядишь ты восхитительно и, видимо, совсем здорова. Садись, рассказывай. Как обстоит с твоей памятью?

— Вам все известно?

— Ну, разумеется, мне все известно! Мюрно только третьего дня говорила со мной по телефону. Она разве не приехала с тобой?

Эта комната, очевидно, была его рабочим кабинетом. В ней стояли гладкие строгие кресла, большой стол красного дерева, книги на застекленных полках.

— Когда ты вышла из клиники?

— Кто вы?

Подсев ко мне, он взял меня за руку, все в той же неснимаемой перчатке. Вопрос мой его ошеломил, но по его лицу, изумленному, расплывшемуся сперва в улыбку, затем омрачившемуся, я могла понять, с какой быстротой он мысленно сделал свои выводы.

— Ты не знаешь, кто я такой, и тем не менее пришла ко мне? Да что же это происходит? Где Мюрно?

— Она не знает, что я здесь.

Я чувствовала, что его удивление растет, что на самом деле все должно быть проще, чем я думала. Он выпустил мою руку.

— Если ты меня не помнишь, то откуда ты знаешь мой адрес?

— Из вашего письма.

— Какого письма?

— Которое я получила в клинике.

— Но я не писал тебе!

Теперь я в свою очередь недоуменно таращила на него глаза. Он смотрел на меня так, словно я неразумное животное, но по его лицу я видела, что он сомневается уже не в моей памяти, а в моем рассудке.

— погоди минутку, — сказал он. — Сиди спокойно.

Я вскочила одновременно с ним и загородила ему дорогу к телефону. Не владея собой, я закричала:

— Не делайте этого! Я получила письмо, на конверте был указан ваш адрес. Я пришла к вам, чтобы узнать, кто вы, чтобы вы сказали, кто я!

— Успокойся же! Никак не пойму, что ты тут плетешь. Если Мюрно ничего не известно, я должен ей позвонить. Не знаю, каким образом тебе удалось уйти из клиники, но, очевидно, сделала ты это без спросу.

Он снова взял меня за плечи, пытаясь усадить в кресло, с которого я вскочила. Кожа на висках у него была землистая, а щеки вдруг побагровели.

— Умоляю вас, объясните, вы обязаны мне объяснить! Я, может быть, рассуждаю как дурочка, но я не сумасшедшая! Умоляю вас, объясните!

Так и не усадив меня в кресло, он отказался от этого намерения. Но когда он снова ринулся к телефону, стоявшему на столе, я схватила его за руку.

— Успокойся, — сказал он. — Я тебе зла не желаю. Ведь я знаю тебя столько лет.

— Кто вы?

— Я Франсуа Шанс! Адвокат. Веду дела Рафферми. Включен в «главную книгу».

— А что это такое?

— Приходно-расходная книга. В нее были включены люди, обслуживающие Рафферми. Те, кому платили по

ведомости. Я тебе друг, но это нужно долго объяснять. Именно я занимался ее коммерческими сделками во Франции, понимаешь? Да сядь же ты!

— Вы писали мне после несчастья?

— Нет. Мюрно просила этого не делать. Я, как и все, справлялся о твоём здоровье, но писать не писал. Ну что я тебе мог сказать?

— Что я буду принадлежать вам вечно.

Произнеся эти слова, я отчетливо сознавала, что это невыносимая чушь, не мог же написать такое письмо этот господин с отвислым подбородком, который годился мне в отцы.

— Что? Да это же смешно! Да я никогда бы себе этого не позволил! Где письмо?

— У меня его нет.

— Послушай, Мики, я понятия не имею, что у тебя на уме! В твоём теперешнем состоянии ты, может статься, бог весь что выдумала. Прошу тебя, дай мне позвонить Мюрно!

— Но как раз Жанна-то и подала мне мысль поехать к вам. Я получила от вас любовное письмо, и притом Жанна говорила, будто вам со мной не везло и вы не имели ни малейшего шанса на успех, что ж, по-вашему, я тут выдумала?

— Мюрно читала это письмо?

— Ничего об этом не знаю.

— Не понимаю, — сказал он. — Если Мюрно говорила, что у меня нет ни малейшего шанса на успех у тебя и мне, мол, не везет, то, во-первых, потому что за тобой водилась привычка каламбурить по поводу моей фамилии, а во-вторых, она намекала и на кое-что другое. Ты, по правде сказать, частенько причиняла мне неприятности.

— Неприятности?

— Оставим это, пожалуйста. Тут и твои сумасбродные долги, и помятое иной раз автомобильное крыло — это все сейчас уже не важно. Будь добра, сядь и дай мне позвонить. Ты хоть успела позавтракать?

У меня не хватило духу снова удержать его за руку. Я дала ему обойти вокруг стола и набрать номер, а сама медленно пятилась к двери. Слушая телефонный гудок, он не спускал с меня глаз, но было ясно, что он меня не видит.

— Ты не знаешь, она сейчас где, у тебя?

Он положил трубку и набрал номер снова. У меня? Значит, Жанна скрыла от него, как и от всех других, где она меня прячет: ведь он поверил, что я выписалась из клиники только сегодня утром. Я поняла, что до того, как Жанна забрала меня из клиники, она, должно быть, жила в другом доме, это и было «у меня»: именно туда Шанс и звонил.

— Там не отвечают.

— Куда вы звоните?

— На улицу Курсель, конечно. Разве Мюрно завтракает не дома?

Его окрик «Мики!» донесся до меня уже в прихожей, когда я отворила дверь на лестницу. Никогда еще мои ноги так не уставали, но ступеньки были широкие, а лодочки крестной Мидоля удобные, и я не оступилась, сбегаю по лестнице.

Минут пятнадцать я бродила по улицам вокруг Порт-д'Отей. Тут я заметила, что все еще держу под мышкой папку с газетными вырезками, которую дал мне доктор Дулен. Я остановилась перед стенным зеркалом у витрины, чтобы посмотреть, на месте ли мой берет и не смахиваю ли я на злоумышленницу.

Я увидела в зеркале девушку с осунувшимся лицом, но спокойную и хорошо одетую, а за нею — того самого приятного молодого человека, который впустил меня в квартиру Франсуа Шанса.

Я невольно зажала себе рот, чтобы не вскрикнуть, и так резко обернулась, что у меня заболели плечи и голова.

— Не пугайся, Мики, я тебе друг. Пойдем. Мне нужно с тобой поговорить.

— Кто вы?

— Тебе нечего бояться. Прошу тебя, пойдем. Я ведь только поговорить с тобой хочу.

Он мягко взял меня под руку. Я не сопротивлялась. Мы находились так далеко от дома Франсуа Шанса, что меня нельзя было бы туда затащить.

— Вы следили за мной?

— Да. Когда ты туда пришла, я растерялся. Я тебя не узнал, да и ты, кажется, меня не узнала. Я ждал тебя у дома в машине, но ты так быстро пробежала, что я не успел тебя окликнуть. А потом ты свернула в улицу с односторонним движением, и я с трудом тебя нашел.

Он крепко держал меня под руку, пока не довел до своей машины; это был Черный закрытый автомобиль и стоял он на площади, через которую я только что переходила.

— Куда вы меня собираетесь везти?

— Куда ты пожелаешь. Ты еще не завтракала? Может, поедем в ресторан «У Рэн», ты помнишь это место?

— Нет.

— Мы с тобой так часто бывали. Вдвоем. Мики, верь мне, тебе нечего бояться.

Он крепче сжал мою руку и скороговоркой сказал:

— Ведь шла-то ты ко мне нынче утром. Правду сказать, я уже не верил, что ты когда-нибудь вернешься. Я ведь понятия не имел, что у тебя эта, ну как ее... Ну, что ты потеряла память. Я просто не знал, что и думать.

У него были очень темные и очень блестящие глаза, глуховатый, но приятный голос, в котором явственно слышалось волнение. Сам он с виду был крепкий, но какой-то беспокойный. Он мне почему-то не нравился, но бояться я перестала.

— Вы подслушивали под дверью?

— Я слышал все из передней. Садись же в машину, прошу тебя. Письмо-то писал я. Я тоже Франсуа, Франсуа Руссен. Тебя ввел в заблуждение обратный адрес на конверте.

Когда я села рядом с ним в машину, он попросил меня называть его «на ты», как прежде. Все это совершенно не укладывалось в моей голове. Я смотрела, как он вынимает ключи из машины, как включает мотор, и удивлялась, что у него дрожит рука. Удивлялась я и тому, что сама не дрожу. Наверное, я любила этого человека, если он был моим любовником. И естественно, что, встретив меня, он волнуется. А я точно заledenела с головы до ног. И если я дрожала, то от холода. Явью было ощущение холода, все прочее — нет.

Я не сняла пальто. Мне казалось, что от вина я согреюсь, и я здорово согреюсь, и я здорово выпила, но мысли мои от этого не прояснились.

Так вот: я познакомилась с ним в прошлом году у Франсуа Шанса, у которого он работает. Я провела осенью десять дней в Париже. Из того, как он описывал начало нашей связи, следовало, что мне не впервой было заводить интрижки, и я попросту заставила его бросить все свои дела и запереться со мной в номере загородной гостиницы, в Милли-ля-Форе. Затем я возвращаюсь во Флоренцию и пишу ему оттуда пылкие письма, которые он якобы может мне показать. Конечно же, я ему изменяю, но только из озорства, потому что мне опротивел этот дурацкий образ жизни, который я веду в разлуке с ним. Мне не удается устроить ему фиктивную командировку в Италию по делам моей тетки, она не дает согласия. Вторая наша встреча с ним происходит в январе этого года, когда я приезжаю в Париж. Пламенная страсть.

Конец истории — а ее ждал неизбежный конец (пожар) — показался мне особенно не ясным. Может, на меня так действовало вино, но события, на мой взгляд, становятся особенно сумбурными, когда на сцене появляется новое действующее лицо — Доменика Лои.

Была какая-то ссора с Франсуа, несколько раз я пропускаю свидания, потом происходит вторая ссора, и я даю ему пощечину, потом возникает третья ссора, от меня достается Доменике, я не просто даю ей оплеуху, но избиваю ее, прихожу в такую ярость, что она на коленях молит о пощаде и целую неделю потом ходит в синяках. Затем еще одна стычка, как будто не связанная со всем предыдущим, речь идет о какой-то бестактности, совершенной не то Франсуа, не то мною, а может, Доменикой. И наконец, происходит что-то вовсе непонятное: ревность, кабачок на площади звезды, темное влияние на меня демонической личности (До), которая хочет рассорить меня с ним (Франсуа), мой внезапный отъезд в июне на машине, письма Франсуа, оставленные мною без ответа, возвращение карги (это Жанна), растущее и все более загадочное влияние демонической личности на каргу, тревога, звучащая якобы в голосе (в моем голосе), отвечающем Франсуа во время телефонного разговора из Парижа с мысом Кадэ, который продолжался целых двадцать пять минут, и стоил ему (Франсуа) уйму денег.

Он говорил без умолку, поэтому ничего не ел. Заказал вторую бутылку вина, очень волновался, много курил. Он догадывался, что решительно все в его рассказе кажется мне ложью. Под конец он стал после каждой фразы повторять: «уверю тебя!». А у меня в груди вместо сердца был ком льда. Я вдруг вспомнила Жанну, мне захотелось закрыть лицо руками и положить голову на скатерть, чтобы уснуть, а может, во весь голос заплакать. Уж она-то бы меня нашла, она натянула бы мне берет на голову и увела бы далеко-далеко от этого мерзкого глухого голоса, от звона посуды, от дыма, который ел мне глаза.

— Уйдем отсюда.

— Секундочку потерпи. Смотри не убегай! Мне нужно позвонить в контору.

Если бы не охватившее меня оцепенение или отвращение, я бы сбежала. Вместо этого я закурила сигарету —

этот сорт я терпеть не могла — и тут же ее погасила в своей тарелке. Я сказала себе, что будь эта история рассказана иначе, она, возможно, и показалась бы мне такой гадкой, я бы себя в ней узнала. С внешней стороны здесь все сплошная неправда. Но кто, кроме меня, мог знать, что таилось в душе той шальной девчонки? Когда память ко мне вернется, я вспомню, вероятно, эти же факты, но только расскажу я о них по-другому.

— Пойдем, — сказал он. — Ты просто с ног валишься. Не могу же я тебя так бросить.

Он опять взял меня под руку. Распахнул передо мной стеклянную дверь. На набережных светило солнце. Я снова сидела в его машине. Мы неслись по каким-то улицам, спускавшимся под гору.

— Куда мы едем?

— Ко мне домой. Послушай, Мики, я сознаю, что про все это я рассказал тебе очень плохо, мне хочется, чтобы ты это забыла. Разговор мы продолжим попозже, когда ты немного поспишь. Я понимаю, от всех этих потрясений и бесконечных переживаний ты стала несколько неуравновешенной. Не спеши думать обо мне плохо.

Ведя машину, он положил — так же, как Жанна, — свободную руку мне на колено.

— Это изумительно, — сказал он, — что я снова тебя встретил.

Когда я проснулась, уже наступили сумерки. Никогда еще у меня так не болела голова, разве что в первые дни в клинике. Франсуа тряс меня за плечо.

— Я сварил тебе кофе. Сейчас принесу.

Я была в комнате с задернутыми на окнах шторами, обставленной разнокалиберной мебелью. Кровать, на которой я лежала в юбке и пуловере, укрытая до пояса пледом, оказалась диваном-кроватью, и я тут же вспомнила, как Франсуа его расставлял. На низеньком столике, находившемся на уровне моих глаз, я увидела свою фотографию в серебряной оправе, вернее, фотографию той, какую я была «прежде». У кресла напротив кровати валялись на ковре газетные вырезки доктора Дулена. Должно быть, Франсуа читал их, пока я спала.

Он вернулся с чашкой дымящегося кофе. От кофе мне стало чуточку легче. Франсуа был без пиджака, по-домашнему, и, заложив руки в карманы брюк, смотрел улыбаясь, как я пью, видимо, очень довольный собой. Я взглянула на свои часы. Они стояли.

— Я долго спала?

— Сейчас шесть часов. Ну как ты, лучше себя чувствуешь?

— Мне кажется, я бы спала еще много-много лет. Очень болит голова.

— Может, надо что-нибудь сделать? — спросил он.

— Не знаю.

— Хочешь, что бы я вызвал врача?

Он сел на кровать подле меня и, взяв из моих рук пустую чашку, поставил ее на ковер.

— Лучше бы вызвать Жанну.

— У нас в доме есть врач, но я не знаю номера его телефона. Что касается Жанны, то я, признаться, совсем не жажду, чтобы она сейчас ко мне нагрянула.

— Ты ее не любишь?

Он рассмеялся и обнял меня.

— Узнаю тебя, — сказал он. — Ты действительно ничуть не изменилась: все решается тем, любишь ты или не любишь человека. Нет, не вырывайся. Имею же я право хоть обнять тебя после такого долгого перерыва.

Приподняв мне голову, он провел рукой по моим волосам и осторожно поцеловал в затылок.

— Да, я не люблю Жанну. Живя с тобой, пришлось бы любить всех на свете. Даже ту несчастную девушку, хоть она, все же, бог знает что...

И, поцеловав меня, он указал рукой на газетные вырезки, валявшиеся на полу.

— Я прочел. Мне, правда, уже рассказывали, но все эти подробности... Какая жуть! Я рад, что ты хотела ее оттуда вытащить. Ну дай же мне посмотреть на твои волосы.

Я быстро прикрыла рукой голову.

— Не надо, пожалуйста..

— Ты всегда должна носить перчатки? — спросил он.

— Ну пожалуйста!

Он коснулся губами моей руки в перчатке, мягко отвел ее и поцеловал меня в голову.

— Больше всего тебя меняют волосы. Когда мы с тобой сегодня завтракали в ресторане, мне иногда казалось, что я разговариваю с чужой девушкой.

Взяв меня за щеки, он долго изучал мое лицо.

— И все-таки это, конечно, ты, Мики. Я смотрел на тебя, когда ты спала. Знаешь, я ведь частенько смотрел на тебя, спящую. И сейчас у тебя было точь-в-точь такое же лицо.

Он поцеловал меня в губы. Сначала бегло, чтобы посмотреть, как это на меня подействует, потом поцелуи стали долгими. На меня опять нашло оцепенение, но совсем не такое, как сегодня в ресторане, сейчас все мое тело томительно и сладко ныло. Это ощущение я знала до клиники, до слепящих вспышек белого света, попросту говоря, оно пришло из прошлого, оно существовало «прежде». Я не шевелилась. Я сосредоточенно прислушивалась к себе, в эту минуту я, наверное, как последняя дура, надеялась, что в поцелуе обрету память обо всем. Я отстранилась, только когда у меня перехватило дыхание.

— Теперь ты мне веришь? — спросил он.

Он довольно усмехался, на лоб его упал клочок темных волос. Вот эта-то его фраза все и погубила. Я отодвинулась от него еще дальше.

— Я часто бывала в этой комнате?

— Да нет, не очень часто. Я бывал у тебя.

— Где?

— В отеле «Резиденс», на улице лорда Байрона, а потом — на улице Курсель. Да вот тебе и доказательство!

Он вскочил и, вынув из ящика стола маленькую связку ключей, протянул ее мне.

— Ты дала их мне, когда переехала на Курсель. Иной раз вечером ты обедала не со мной, и тогда мы встречались там после.

— Это отдельная квартира?

— Нет, особнячок. Очень красивый. Мюрно тебе его покажет. Или, если хочешь, съездим туда вдвоем. Эх, и хорошо же нам тогда было!

— Расскажи!

Он снова засмеялся, кольцом сомкнув вокруг меня руки. Я смирно лежала на кровати, твердые ключи вонзились мне в ладонь.

— О чем же рассказывать?

— О нас. О Жанне. О До.

— О нас рассказывать интересно. А вот о Жанне — нет. И о До — так же. Из-за нее-то я и перестал у тебя бывать.

— Почему?

— Она тебя мучила. Когда ты ее к себе взяла, у нас с тобой все разладилось. Ты вела себя как сумасшедшая. У тебя были совершенно бредовые идеи.

— Это было когда?

— Я уж не помню. Но до того, как вы вдвоем уехали на юг.

— Какая она была?

— Послушай, она же умерла. А я не люблю плохо говорить о покойниках. Да и не все ли равно, какая она была? На твой взгляд она была совсем иная: милая, прелестная, жизни для тебя не пожалеет! И до чего умна! Она и в самом деле должна была быть умной. Вертела тобой как хотела, да и самой Мюрно — тоже. И чуть-чуть не прибрала к рукам мамашу Рафферми.

— Она была знакома с моей теткой?

— К счастью, нет. Но умри твоя тетка месяцем позже, До бы с ней познакомилась и отхватила бы себе смачный кусок пирога, будь уверена! Ты собиралась с ней ехать к тетке. До ведь так хотелось увидеть Италию!

— Почему ты считаешь, что она мучила против тебя?

— Я ей мешал.

— Почему?

— Откуда я знаю! Она думала, наверное, что ты выйдешь за меня замуж. зря ты рассказывала ей о наших планах. Да мы и сейчас зря говорим обо всем этом. Ну, точка.

Он стал целовать меня в шею, в губы, но я уже ничего не чувствовала, я замерла, старалась собраться с мыслями.

— Почему ты сказал раньше, что рад, что я во время пожара пыталась вытащить До из ее комнаты?

— Потому что я лично дал бы ей там подохнуть. И потом из-за всего прочего. Ну, хватит, Мики!

— А что такое «все прочее»? Я хочу знать.

— Мне стало известно об этом, когда я был в Париже. Я не очень понимал, что там стряслось. Я бог знает что вообразил. Мне не верилось, что это был несчастный случай. Словом, что это чистая случайность.

Я онемела. Он сошел с ума: говорит такие ужасные вещи и при том не спеша меня раздевает! Я попыталась подняться.

— Пусты меня.

— В самом деле? Да выкинь ты все это из головы.

Он грубо толкнул меня на кровать.

— Пусты!

— Послушай, Мики!

— Почему ты думал, что это не было несчастным случаем?

— Черт побери! Да надо быть чокнутым, чтобы, зная Мюрно, считать это несчастным случаем! Надо быть полным кретином, чтобы поверить, будто она, прожив там три недели, не заметила, что газовая труба не в порядке! Как на духу тебе говорю, можешь не сомневаться, что проводка была сделана безукоризненно!

Я отбивалась от него как могла. Кончилось тем, что он разорвал ворот моего пуловера, и только тогда опомнился. Увидев, что я плачу, он меня отпустил.

Я отыскала свои туфли и пальто, не слушая, что он говорил. Подобрала с пола газетные вырезки, сложила их в папку, и тут почувствовала, что за перчаткой у меня спрятаны ключи, которые он мне дал. Я сунула их в карман пальто.

Франсуа стал перед дверью, загораживая мне дорогу, смешной и униженный, с бледным помятым лицом. Я вытерла глаза кулаком и сказала Франсуа, что если он хочет меня еще когда-нибудь увидеть, то должен сейчас дать мне уйти.

— Мики, это же глупо. Уверяю тебя, это глупо. Я все эти месяцы непрерывно думаю о тебе. Сам не знаю, что это на меня накатило.

Он вышел на лестничную площадку и смотрел мне вслед. Жалкий, уродливый, алчный, лживый. Шакал.

Я бродила по городу долго. Сворачивала то на одну, то на другую улицу. Чем больше я размышляла, тем больше мешались мои мысли. Боль в затылке прошла, зато теперь разболелась спина вдоль всего позвоночника. Вероятно оттого, что я устала, все это и случилось.

Сначала я ходила в поисках такси, а потом — лишь бы ходить, лишь бы не возвращаться в Нейи, не видеть Жанну. Я было решила позвонить ей по телефону, но раздумала: я бы не удержалась, заговорила бы о газовой трубе. Я боялась, что не поверю ей, когда она станет оправдываться.

Мне стало холодно. Я зашла в кафе, чтобы согреться. Расплатившись и получив сдачу, я заметила, что у меня осталось много денег, на них, наверное, можно прожить несколько дней. Жить в эту минуту для меня означало только одно: получить Возможность улечься на постель и поспать. А еще не плохо было бы помыться, надеть свежее платье, свежие перчатки.

Я поплелась дальше и наконец зашла в какую-то гостиницу подле вокзала. Там спросили, если у меня с собой багаж, хочу ли я номер с ванной, и дали заполнить какой-то бланк. Я заплатила вперед.

Я уже поднималась по лестнице в сопровождение горничной, когда из-за конторки раздался голос управляющего гостиницы:

— Мадемуазель Лои, прикажете будить вас утром?

— Нет, не беспокойтесь, пожалуйста, — ответила я и обернулась, вся похолодев и чувствуя, что мой мозг точно скован ужасом, потому что я же знала это раньше, знала давно, знала всегда.

— Как вы меня назвали?

Он заглянул в заполненный мною бланк.

— Мадемуазель Лои. А что, разве не так?

Я спустилась с лестницы, подошла к нему. Я еще пыталась подавить в себе издавна знакомый страх. Это не может быть правдой, это просто — «столкновение поездов», из-за того, что я два часа говорила о До, из-за моей усталости.

На этой желтой бумажке я написала следующее: «Лои Доменика-Лелла-Мария, родилась 4 июля 1939 года в Нице (Приморские Альпы), француженка, банковская служащая».

Подпись «ДоЛои», очень разборчива, имя и фамилия написаны слитно и обведены овалом, неровно и наспех.

Я разделась и напустила воды в ванну. Сняла перчатки, затем снова их надела, так как мысль о том, что я должна буду касаться своего тела такими руками, была мне неприятна.

Я делала все медленно, почти спокойно. Когда доходишь до состояния полной подавленности, оцепенение мало чем отличается от спокойствия.

Я не знала, что и думать, поэтому перестала думать. Мне было дурно и в то же время приятно в теплой воде. Я забыла завести свои часы, и когда взглянула на них, выйдя из ванной, они показывали три часа пополудни.

Я вытерлась полотенцами, которые были в моем номере, надела белье руками в мокрых перчатках, руки у меня горели. В зеркальном шкафу отражалась фигура автомата с узкими бедрами, топающего босиком по комнате, в чертах которого не осталось и подобия прежнего человека. Подойдя ближе к зеркалу, я обнаружила, что после ванны мерзкие швы у меня под бровями, под крыльями носа, под подбородком и за ушами стали особенно заметны. А рубцы на голове отчетливо просвечивали под редкими волосами, набухшие и кирпично-красные.

Я упала ничком на кровать и долго лежала, уткнувшись лицом в сгиб локтя, преследуемая одной неотвязной мыслью: зачем могла девушка добровольно окунуться в пламя, сжигая голову и руки? Кто был бы способен на такое мужество? Вдруг я заметила лежавшую возле меня папку.

Когда я сегодня утром в первый раз просматривала эти статьи, все в них совпадало с рассказом Жанны. При повторном чтении я открыла такие подробности, которые раньше казались мне незначительными, а теперь поражали.

Ни дата рождения Доменики Лои, ни два других имени, данных ей при крещении, нигде в газетах не упоминались. Сказано было только, что ей двадцать один год. Но, так как пожар произошел ночью 4 июля, то репортеры добавляли, что несчастная погибла в день своего рождения. Несколько секунд я уже склонялась к тому, что могла знать не хуже самой До, какими еще именами ее нарекли, равно как и дату ее рождения, что я могла написать «Лои» вместо «Изоля»: все это объясняется моей усталостью, тем, что я все время думала о До. Но нельзя же этим объяснить такое полное перевоплощение, когда я так точно заполняю все пункты учетной карточки, даже воспроизвожу эту дурацкую школярскую подпись.

Вместе с тем мне пришло на ум и иное. Жанна не могла ошибиться. Она помогала мне мыться, начиная с первого же вечера, она знала меня много лет, как знает своего ребенка приемная мать. Если изменилось мое лицо, то мое тело, мои манеры, голос остались прежними. До могла быть одного роста со мной: может статься, у нее были глаза того же цвета, что у меня, и такие же темные волосы, но ошибка Жанны — вещь невозможная. Я выдала бы себя каким-нибудь изгибом спины или плеча, формой ноги.

Я задумалась над словами «выдала бы себя». И это было странно, как будто моя мысль помимо моей воли уже привела меня к объяснению, которого я не хотела принимать.

Я была не я. Поэтому я не способна восстановить свое прошлое. Как же я могла восстановить прошлое кого-то, кем я не была?

А Жанна ведь меня не узнала. Мой смех, мои манеры и другие неизвестные мне мои способности ее поражали, тревожили и постепенно меня отдаляли.

Это-то я и пыталась понять сегодня, сбежав от нее, именно это. «Я перестала спать». «Как можешь ты до такой степени быть на нее похожей?». Да, я, черт подери, была похожа на До! Жанна не хотела этого признать, как и я, но каждый мой жест раздирал ей сердце, каждая ночь сомнений добавляла синевы под ее глазами...

И все-таки в этом рассуждении было одно слабое место: ночь пожара. Жанна была там. Она подобрала меня под лестницей, она, конечно, сопровождала меня в Ля-Сьота, в Ниццу. Ее просили также опознать труп погибшей до того, как явятся родители. И не до такой же степени я была неузнаваема, даже обгоревшая. Ошибиться могли чужие люди, только не Жанна.

Значит, получается как раз обратное. Страшнее, но гораздо проще.

«Кто мне скажет, что ты не играешь комедию?» Жанна боялась — боялась меня. Не потому, что я все больше походила на До, А ПОТОМУ, ЧТО ОНА ЗНАЛА, что я — До!

Она знала это с самой ночи пожара. Почему она молчала, почему солгала

— разгадывать это мне было омерзительно. Омерзительно было представлять себе Жанну, намеренно выдающей живую за мертвую, чтобы вопреки и наперекор всему сохранить законную наследницу до того момента, когда вскрыют завешание.

Жанна молчала, но ведь осталась свидетельница ее лжи: ЖИВАЯ. Вот почему Жанна перестала спать. Она прятала от людей свидетельницу, которая, может быть, играла комедию, а может быть, и нет. Жанна сама теперь не очень была уверена ни в том, что ошиблась, ни в своей собственной памяти, да и вообще сомневалась во всем. Легко ли после трех месяцев разлуки, а потом после этих трех дней нового знакомства с воскресшей узнать, тот ли это смех и та ли это родинка? Жанне приходилось всего бояться. В первую очередь — людей, которые хорошо знали умершую и могли бы раскрыть подлог. А особенно она боялась меня, если так старательно прятала меня от людей. Она не знала, как я отнесусь ко всему этому, когда память ко мне вернется.

Однако было в моем рассуждении еще одно слабое место: вечер пожара. Жанна могла найти тогда некую девушку без лица и без рук, но у нее не могло быть никаких сомнений в том, что эта девушка окажется всего лишь идеально сконструированным автоматом, у которого вместо прошлого и будущего — зияющая пустота. Поэтому маловероятно, чтобы Жанна пошла на такой риск. Если только...

Если только свидетельница в равной мере не была заинтересована в молчании (да почему бы и нет, раз уж я сама пришла к таким чудовищным и нелепым предположениям), а Жанна, поняв это, решила, что это дает ей власть надо мной. Вот тут-то вступали в силу подозрения Франсуа по поводу газовой трубы. Мне, как и ему, казалось бесспорным, что такой грубый дефект нового оборудования, способный вызвать пожар, не мог ускользнуть от внимания Жанны. Значит, труба была в исправности. Значит, кто-то, конечно-же, должен был испортить ее потом.

Если судебные следователи и страховые агенты поддерживали версию несчастного случая, значит, повредить трубу нельзя было с одного раза, попросту сделав на ней насечку. Я нашла во многих газетах подробности расследования: прокладку в течение нескольких недель разъедала сырость, края одной из труб проржавели. Это требовало подготовки, длительной работы. Подготовка к тому, что называется убийством.

Стало быть, живая еще до пожара решила занять место мертвой! Ми нисколько не была заинтересована в такой подмене, следовательно, живая и есть До. Я — жива.

Следовательно, я — До. Кривая, ведущая от гостиничного бланка к трубе газовой колонки, замкнулась в кольцо, точь-в-точь как этот манерный овал вокруг подписи «ДоЛои».

Опомнилась я, очутившись неведомо когда и как на коленях под умывальником своего гостиничного номера. Я была в одной комбинации, мне снова стало очень холодно. Я надела юбку и свой разорванный пуловер. Чулки же мне так и не удалось натянуть. Я свернула их в комок и сунула в карман пальто. И, поскольку все мои мысли сводились к одному, я истолковала свой собственный жест как лишнее доказательство моей гипотезы: Ми, конечно, такого жеста не сделала бы. Пара чулок не имела для нее никакой цены. Она швырнула бы ее куда попало, на другой конец комнаты.

В кармане пальто я нащупала ключи, которые дал мне Франсуа. Кажется, это была третья по счету милость, дарованная мне жизнью в тот день. Второй милостью был поцелуй, полученный до той минуты, когда я услышала вопрос: «Теперь ты мне веришь?» А первой милостью был взгляд Жанны когда я попросила выписать мне чек и она вышла из машины: усталый, чуть-чуть сердитый взгляд, но я прочла в нем, что Жанна любит меня всеми силами души, — и едва я об этом вспомнила здесь, в гостиничном номере, как снова стала верить, что все это мне только приснилось, что все это неправда.

В телефонной книге особняк на улице Курсель был на букву «Р», под фамилией Рафферми. Мой указательный палец, обтянутый мокрой тканью перчатки, пропустил пятьдесят четыре номера в столбце, пока не остановился на нужной цифре.

Такси доставило меня к номеру пятьдесят пятому: ворота с высокими решетчатыми створами, выкрашенными в черный цвет. Мои часы, которые я завела перед отъездом из гостиницы Монпарнас, показывали без чего-то полночь.

В глубине сада, усаженного каштанами, высился дом, белый, изящный, безмятежный. Огни в нем были погашены и ставни, по-видимому, заперты. Я отворила ворота, они не скрипнули, и поднялась по аллее, окаймленной газоном. Мои ключи не входили в замки парадной двери. Я обогнула дом и нашла черный вход.

На меня пахло духами Жанны. Я зажгла свет в каждой комнате, открывая их одну за другой. Они были маленькие, большей частью выкрашенные белой краской и, по-моему, обставленные уютно и удобно. На втором этаже я обнаружила спальни. Они выходили в переднюю, наполовину белую, наполовину некрашенную, потому что покраску стен не закончили.

Первая комната, в которую я вошла, была спальней Мики. Откуда я знала, что это ее спальня, я себя не спрашивала. Все говорило о ней: сумбур эстампов на стене, мебель, обитая дорогими тканями, большая кровать с балдахином, в сборках из шелковой кисеи, которую ветер, ворвавшийся из передней, когда я вошла, надул как корабельные паруса. Говорили о Мики и теннисные ракетки на столе, и фотография какого-то юноши, повешенная на абажур, и огромный плюшевый слон, рассеявшийся в кресле, и фуражка немецкого офицера, красующаяся на каменном бюсте, который должен быть изображать крестную Мидоля.

Я отдернула полог и несколько секунд полежала на кровати; потом стала выдвигать разные ящики, получив, против всякого ожидания, доказательство, что эта спальня принадлежала мне. Я вынула из ящиков белье, вещи, не имевшие для меня никакого значения, бумаги, которые я бегло просматривала и бросала на ковер.

Я оставила спальню в полном беспорядке. Но какое мне было до этого дело? Я знала, что позвоню Жанне. Я отдам в ее руки мое прошлое и будущее, а сама лягу спать. И пусть она наводит порядок и разбирается, кто кого убил.

Вторая комната была ничьей, третья — той, где, наверное, спала Жанна, пока я находилась в клинике. Указывали на это и огромные размеры платьев, висевших в шкафу, и запах духов, застоявшийся в соседней ванной.

Наконец я открыла ту комнату, которую искала. В ней не осталось ничего, кроме мебели, кое-какого белья в комоде, халатика в сине-зеленую клетку (на верхнем кармашке вышито: «До») и трех чемоданов, стоявших в ряд у кровати.

Чемоданы были полны. Вытряхнув на ковер содержимое, я поняла, что Жанна привезла эти чемоданы с мыса Кадэ. В двух были вещи Ми, которые Жанна от меня утаила. Если они находились в этой комнате, то потому, может быть, что у Жанны не хватало мужества войти в комнату умершей. А может, и не потому.

В третьем чемодане, который был поменьше, оказалось очень мало одежды, но зато лежали письма и бумаги, принадлежавшие До. Мне не верилось, что это все, но я сказала себе, что, наверное, старикам Лои отдали другие вещи их дочери, уцелевшие от пожара.

Я развязала веревочку, которой была связана пачка писем. Это были письма крестной Мидоля (она так и подписывалась) к кому-то, кого я сначала приняла за Ми, потому что они начинались словами: «моя милочка», «сагипа» (дорогая), «моя крошка». Читая их, я поняла, что хотя в них много говорилось о Ми, обращены они к До. Возможно, у меня теперь было довольно своеобразное представление об орфографии, но, по-моему, письма крестной просто пестрели ошибками. Однако они были очень нежные, и от того, что я читала между строк, у меня снова стыла кровь.

Я отложила осмотр своего имущества и пошла искать телефон. Он оказался в спальне Ми. Я позвонила в Нейи. Было около часу ночи, но Жанна, должно быть, держала руку на телефонной трубке, потому что сразу ответила. Прежде чем я успела сказать хоть слово, Жанна закричала, что она изнывает от тревоги; на меня посыпались оскорбления попеременно с мольбами. Тогда я тоже крикнула:

— Да погоди же!

— Где ты?

— На Курсель.

Внезапная пауза, которая затягивалась и могла означать все что угодно: удивление, признание. Наконец я сказала:

— Приезжай, я жду!

— Как ты себя чувствуешь?

— Плохо. Привези мне перчатки.

Я повесила трубку. Вернувшись в спальню До, я продолжала рыться в МОИХ бумагах. Затем взяла смену белья, которая принадлежала МНЕ, клетчатый халатик и переоделась. Я сняла с себя даже туфли и босиком спустилась в первый этаж. Единственное, что я оставила себе от «той, другой», были перчатки, они-то были МОИМИ перчатками.

В столовой я зажгла все лампы, достала коньяк и выпила глоток прямо из бутылки. Затем я долго возилась с проигрывателем, пока не сообразила, как он устроен. Поставила я что-то шумное. От коньяка я чувствовала себя лучше, но побоялась пить еще. На всякий случай я взяла его с собой в соседнюю комнату, где, кажется, было теплее, и улеглась там в темноте, прижимая к груди бутылку.

Минут через двадцать после моего телефонного звонка я услышала, что где-то отворилась дверь. Спустя еще минуту в столовой смолкла музыка. Шаги приближались к моей комнате. Жанна не зажигала света. Я увидела ее темный длинный силуэт в проеме, ее рука легла на ручку двери — точный негатив изображения той молодой женщины, что явилась мне солнечным утром в клинике. Несколько секунд Жанна молчала, затем проговорила своим мягким, глубоким и спокойным голосом:

— Здравствуй, До.

называла (и слушателям, конечно, полагалось смеяться) «счастливым случаем». Чек был похож на все другие чеки, которые проходили через руки До с девяти утра до пяти вечера, не считая сорокапятиминутного перерыва на завтрак. На нем имелась подпись владельца текущего счета, Франсуа Шанса, и только когда До внесла выплату в дебет, она прочла на обороте чека передаточную надпись на имя Мишель Изоля.

До почти непроизвольно вскинула глаза, посмотрев через головы товаров, и увидела по другую сторону стола кассиров девушку в бежевом пальто, голубоглазую, с длинными черными волосами. До продолжала сидеть, ошеломленная не столько появлением Ми, сколько ее красотой. Между тем одному богу известно, как часто рисовала она в своем воображении эту встречу: иногда она встречала Ми на теплоходе (на шикарном теплоходе!), иногда в театре (куда До никогда не ходила), а однажды встретила где-то на пляже в Италии (До в жизни не была в Италии). В общем, происходило это неведомо где, в мире на грани сна, когда можно, засыпая, выдумывать без оглядки все, что душе угодно.

А нынешняя встреча за пятнадцать минут до звонка, возвещающего конец рабочего дня, у стола, который До видела перед собой ежедневно вот уже два года, воспринималась как нечто еще менее реальное, и все же не удивляла. Однако Ми была так красива, так ослепительно хороша, она казалась таким законченным воплощением счастья, что, увиденная воочию, развеяла все прежние мечты.

В мечтах жизнь представлялась проще. Случайно найдя свою осиротевшую подругу, До на поверку оказывалась выше ее по всем статьям: и ростом брала (168 см), и примерным прилежанием (аттестат зрелости с оценкой «хорошо» по всем предметам), и сметкой (она округляла капиталец Ми какими-то не вполне ясными операциями на бирже), и отвагой (спасала крестную Мидоля во время кораблекрушения, а Ми думала только о себе и утонула), и у мужчин До пользовалась большим успехом (жених Ми, некий итальянский князь, за три дня до их свадьбы предлагал руку и сердце бедной кузине — кошмарные переживания), словом, До брала всем. И, само собой разумеется, красотой тоже.

Девушка в бежевом пальто — издали она казалась старше двадцати лет, и движения у нее были очень уверенные — спрятала врученные ей деньги в сумочку, на миг сверкнула улыбкой и направилась к выходу из банка, где ее ждала приятельница.

Доменика пробиралась между конторками с каким-то странным чувством внутреннего сопротивления. Она говорила себе: «Я ее потеряю, я ее больше не увижу. А если увижу, если наберусь храбрости с ней заговорить, она снизойдет до улыбки и тут же забудет обо мне, равнодушно отвернется».

Так оно примерно и случилось. До догнала обеих девушек на бульваре Сен-Мишель, в метрах пятидесяти от банка, когда они собирались сесть в белую «МГ», стоявшую в запрещенном для стоянки месте. Ми посмотрела, явно не узнавая, но с вежливым интересом, на эту схватившую ее за рукав, запыхавшуюся от бега девушку, которая, наверное, промерзла до костей.

До сказала, что она — До. После долгих объяснений Ми как-будто вспомнила свою подружку детских лет и ответила: «Вот это здорово, что мы так встретились». Говорить больше было не о чем. Попытку продолжить разговор сделала сама Ми. Она спросила, давно ли До живет в Париже и работает в банке, нравится ли ей эта работа. Она познакомила До со своей приятельницей, грубо размалеванной американкой, которая уже уселась в машину. Потом Ми сказала:

— Позвони мне как-нибудь на днях. Мне было приятно с тобой встретиться.

Ми села за руль, и они укатили. До вернулась в банк, когда там уже запирали двери. Озлобленная и в полном смятении чувств.

«Как же ей звонить, я даже не знаю, где она живет. Удивительно, что она одного роста со мной, когда-то она была гораздо ниже. Я была такой же красивой, если бы так одевалась. На сколько был тот чек? Плевать ей, позвоню я или нет. У нее нет итальянского акцента. Она, наверное, считает меня дурой стоеросовой. Ненавижу ее. Я могу ненавидеть ее сколько влезет, задохнусь-то от ненависти я».

Она осталась на час после закрытия банка, чтобы поработать. Чек она взяла, когда служащие стали расходиться. Адрес Ми на нем не значился. До списала адрес владельца текущего счета, Франсуа Шанса.

Позвонила она ему через полчаса из «Дюпон-Латен». До сказала, что она кузина Ми, она только что ее видела, но не догадалась спросить номер ее телефона. Мужской голос ответил, что, насколько ему известно, у мадемуазель Изоля нет кузины, но все-таки согласился дать номер телефона и адрес Ми: «Резиденс Уошингтон, улица лорда Байрона».

Выходя из телефонной будки в полуподвальном помещении ресторана, До назначила себе срок: звонить Ми не раньше чем через трое суток. Она вернулась в зал, где ее уже ждали друзья: две сослуживицы по конторе банка и молодой человек, познакомившийся с ней полгода тому назад; четыре месяца он ее целовал, а два последних

был ее любовником. Он был недурен собой, худощавый, симпатичный, немного не от мира сего страховой агент.

До снова села рядом с ним, поглядела на него, нашла, что не такой он симпатичный, не больно хорош собой, не очень-то витает в облаках и вполне страховой агент. Она снова спустилась вниз, в телефонную будку, и позвонила Ми, но не застала ее.

Девушка, говорившая без итальянского акцента, оказалась у телефона только через пять дней, после многократных ежевечерних попыток До позвонить к ней с восемнадцати часов до полуночи. В тот вечер До звонила из комнаты Габриеля, страхового агента, который спал рядом с ней, накрыв голову подушкой. Была полночь.

Вопреки всем трезво-скептическим предположениям, Ми помнила об их встрече. Она извинилась, что все эти дни не бывала дома. Вечером ее поймать трудно. Впрочем, утром тоже.

У До были заготовлены всевозможные хитроумные формулы, чтобы иметь повод для встречи с Ми, но сказала она только следующее:

— Мне нужно с тобой поговорить.

— Ах так, — сказала Ми. — Ну ладно, приходи, только давай быстро, я спать хочу. Я тебя очень люблю, но мне нужно завтра рано вставать.

Она чмокнула губами, что означало «целую», и положила трубку. До несколько минут сидела на краю кровати с трубкой в руках как очумелая. затем кинулась к своей одежде.

— Ты уходишь? — спросил Габриель.

Вот теперь целовала она, полуодетая, звонко смеясь. Габриель подумал, что она совсем рехнулась, и опять накрыл голову подушкой. Он тоже вставал рано.

Все там было величественное, чопорное и очень англосаксонское. Смахивало это на отель: портье в ливрее, за темными конторками — служащие в черных костюмах.

В глубине холла До видела бар, куда вели три ступеньки вниз. Сидели там люди, должно быть, те самые, которых встречаешь на теплоходах, модных пляжах, театральных премьерах: «мир на грани сна».

Ей отворила дверь какая-то старуха, которая надевала пальто, собираясь уходить. Она крикнула что-то по-итальянски в соседнюю комнату и вышла из номера.

Как и внизу, здесь все было очень в английском стиле: большие кресла, толстые ковры. Ми выскочила в короткой комбинации выше колен, с обнаженными плечами, без чулок, держа в зубах карандаш, а в руке — абажур. Она объяснила, что у нее испортилась лампа.

— Ну, как живешь? Послушай, ты, наверное, мастерица на все руки. Глянь-ка, что там.

В комнате, где пахло американскими сигаретами и стояла незастланная кровать, До, не снимая пальто, водворила абажур на место. Ми тем временем то рылась в коробке на столике, то бегала в другую комнату. Вышла она оттуда, держа в одной руке три кредитки по десять тысяч франков, а в другой — мохнатое полотенце. Она протянула деньги До, которая, растерявшись машинально взяла их.

— Устраивает? — спросила Ми. — Господи, да я бы тебя ни за что не узнала, ну право же!

Она ласково и пристально смотрела на До своими прекрасными, точно фарфоровыми, глазами. Вблизи она не выглядела старше двадцати лет. Она и в самом деле была прехорошенькая. Не прошло и двух секунд, как она сорвалась с места, вспомнив о каком-то неотложном деле, и бросилась к двери.

— Чао! Так не пропадай, уговорились?

— Но я не понимаю...

До шла за ней, протягивая кредитки. Ми резко повернулась к ней лицом на пороге ванной, где из открытых кранов струилась вода.

— Да не хочу я денег! — твердила До.

— Разве ты не сказала это мне по телефону?

— Я сказала, что мне нужно с тобой поговорить.

Лицо Ми выразило не то искреннее огорчение, не то досаду и удивление, а может быть все сразу.

— Поговорить? О чем?

— О всякой всячине, — ответила До. — Ну вообще, увидеться с тобой, поговорить. Так просто.

— В это-то час? Послушай, посиди-ка, я в две минуты обернусь, я сейчас приду.

До прождала полчаса в спальне Ми, сидя перед кредитками, которые положила на кровать, и не решаясь снять пальто. Ми вернулась в мохнатом халате, энергично вытирая свои мокрые волосы полотенцем. Она сказала что-то непонятное по-итальянски, потом спросила:

— Это ничего, что я лягу? Мы немножко поболтаем. Ты далеко живешь? если никто о тебе не будет беспокоиться, ты можешь ночевать здесь, если захочешь.

Тут поставили массу кроватей. Уверю тебя, я ужасно рада тебя видеть, ну чего ты сидишь с таким мрачным лицом!

Ми улеглась в постель, закурила сигарету, сказала До, что если ей хочется выпить, то где-то в соседней комнате стоят бутылки с вином. заснула она сразу, с горячей сигаретой в пальцах, как-то вдруг, точно кукла. До не верила своим глазам. Она тронула куклу за плечо, та пошевелилась, что-то пролепетала и уронила сигарету на паркет.

— Сигарета, — жалобно в полузабытии пробормотала Ми.

— Я погашу ее.

Кукла чмокнула губами, что означало «целую», и снова уснула.

На другое утро До пришла в банк с опозданием — впервые за два года. Разбудила ее старуха, которая не выказала ни малейшего удивления, застав До спящей на диване. Ми уже не было.

За завтраком в бистро подле банка, где подавали «дежурные блюда», До выпила три чашки кофе. Есть ей не хотелось. Она чувствовала себя несчастной, несправедливо страдающей. Жизнь одной рукой дает, а другой тут же отнимает. До ночевала у Ми, сблизилась с ней так быстро, как это ей и не снилось, но сегодня у нее было еще меньше поводов видаться с Ми, чем вчера. Ми оставалась недосягаемой.

Вечером, выйдя из банка, До не пошла на свидание с Габриелем и отправилась в «Резиденс Уошингтон». Из холла позвонила наверх, в номер четырнадцать. Но мадемуазель Изоля не было дома. До целый вечер слонялась по Елисейским полям, зашла в кино, потом опять бродила под окнами номера четырнадцать. К полуночи, снова справившись у консьержа в черном сюртуке, пришла ли Ми, До сдалась.

Дней через десять — было это в среду утром и опять в банке — «счастливый случай» повторился. Ми явилась в английском костюме цвета бирюзы, а сопровождал ее какой-то молодой человек. До нагнала ее у окошка кассира.

— Я как раз собиралась тебе звонить, — выпалила она. — Я раскопала старые фотографии, приглашаю тебя со мной пообедать, я хочу тебе их показать.

Ми, явно застигнутая врасплох, не очень уверенно ответила, что это было бы чудесно и надо будет это как-нибудь устроить. Она снова внимательно посмотрела на До, как в тот вечер, когда предложила ей деньги. Неужели же она интересовалась людьми больше, чем это казалось До? Должно быть, Ми прочла в ее глазах мольбу, надежду, боязнь услышать высокомерный отказ.

— Послушай, — сказала Ми, — завтра вечером я обязана в поте лица развлекаться, но я довольно рано освобожусь, мы сможем вместе пообедать. Только приглашаю я. Давай встретимся где-нибудь часов в девять. Если хочешь во «Флоре». Я никогда не опаздываю. Ciao, carina!

Ее спутник осклабился, удостоив До равнодушной улыбкой. Выходя из банка, он обнял принцессу с черными волосами за плечи.

Было без двух минут девять, когда она вошла во «Флору», в пальто внакидку и в белом шарфике, обрамлявшем ее лицо. До, уже полчаса сидевшая под окнами ресторана на террасе, за секунду до этого увидела подкатившую «MG» и порадовалась, что Ми приехала одна.

Ми выпила рюмку сухого мартини, рассказала о светском приеме, с которого приехала, о книге, прочитанной прошлой ночью, заплатила и спросила До, любит ли она китайские рестораны.

Они пообедали вдвоем на улице Кюжа, заказав разные блюда, которые делили пополам. Ми заметила, что распущенные волосы идут До больше, чем узел на затылке. У Ми волосы были гораздо длиннее: возня с ними, пока причешешься, адская. Шутка ли, каждый день двести раз проводить щеткой по волосам. Порой Ми разглядывала До молча, почти с обременительным вниманием, порой начинала вдруг говорить; это был нескончаемый монолог, и казалось, ей все равно, кто сейчас сидит напротив ее.

— Ну, давай о деле, где фото?

— Они у меня дома, — сказала До. — Я живу совсем рядом. Я думала, мы потом сможем и ко мне заглянуть.

Садясь в свою белую «MG», Ми объявила, что прекрасно себя чувствует и очень довольна проведенным вечером. Она вошла в гостиницу «Виктория», уверяя, что это прекрасный район, и, очевидно, сразу почувствовала себя как дома в комнате До. Она сняла пальто и туфли и забралась с ногами на кровать. Девушки разглядывали фото маленькой Ми, потом фото маленькой До, и еще чьи-то лица — забытые и трогательные. До

стояла на коленках тут же на кровати рядом с Ми, и ей хотелось, чтобы это длилось вечно.

На нее веяло духами Ми, и До думала о том, что вот Ми уйдет, а ее аромат останется, и До сама будет пахнуть ее духами. Увидев фотографию, где обе они были сняты на взморье, сидя на краю Тоббогана, Ми засмеялась, и До не выдержала и отчаянно стала целовать ее волосы.

— Хорошее это было время, — сказала Ми.

Она не отстранилась, но не глядела на До. Уже все снимки были пересмотрены, а Ми не шевелилась, по-видимому немного смущенная. Вдруг она повернулась и скороговоркой сказала:

— Поехали ко мне.

Она встала и надела туфли. До продолжала сидеть на кровати; тогда Ми встала перед ней на колени и провела своей нежной ладонью по ее щеке.

— Я бы хотела остаться с тобой навсегда, — сказала До.

И она прижалась лбом в плечо маленькой принцессы, которая была сейчас не равнодушной девушкой, а нежным и незащищенным ребенком, как когда-то, и ответила ей дрогнувшим голосом:

— Ты здорово выпила в этом китайском кабаке, сама не знаешь, что говоришь.

В машине До делала вид, будто с интересом разглядывает Елисейские поля, мелькавшие мимо окна. В номере четырнадцатом ждала, дремля в кресле, все та же старуха. Ми уснула ее звонко чмокнув в обе щеки, закрыла дверь, швырнула свои туфли через всю комнату в угол, свое пальто — на диван. Она смеялась; казалось, она счастлива.

— Что ты там делаешь на своей работе?

— В банке? О, это слишком сложно, так сразу и не объяснишь! И потом, это не интересно.

Ми, которая уже стаскивала с себя платье, подбежала к До и стала расстегивать ее пальто.

— Ну что за бестолковщина! Да сними ты с себя это, устраивайся как дома! Ты меня мучаешь, когда ты такая. Пошевеливайся, слышишь? Кончилось это дракой, обе повалились на кресло, сползли на ковер. Ми оказалась сильнее. Отдышавшись, она со смехом схватила До за запястье.

— Говоришь, работа у тебя сложная? Ясно, ты и сама девушка сложная. А с каких это пор ты стала сложной девушкой? С каких пор мучаешь людей?

— С давних, — ответила До. — Я тебя никогда не забывала, я часами смотрела на твои окна. Воображала, как спасаю тебя во время кораблекрушения. Целовала твои фото.

Продолжать в том же духе, лежа навзничь на ковре, с будто скованными руками, под тяжестью навалившейся на нее Ми, Доменике было трудновато.

— Ну ладно, что ж теперь делать, — заключила Ми.

Она вскочила и побежала в спальню. Через минуту До услышала плеск воды в ванной. Она поднялась с полу, пошла в спальню и стала рыться в шкафу, ища для себя пижаму или ночную рубашку. Попалась пижама. Пижама была ей впору.

В ту ночь она спала в передней номера Ми на диване. Ми легла в смежной комнате, говорила много и громко, чтобы До могла ее услышать. На этот раз Ми не принимала снотворное. Принимала она его часто, из-за него-то она так внезапно и уснула в ночь их первой встречи. Долго еще, после того, как она объявила: «Бай-бай, До!» (и при этом полагалось тоже смеяться), она продолжала свой монолог.

Часа в три утра До проснулась и услышала плачь Ми. Подбежав к ее кровати, она увидела, что Ми спит с мокрым от слез лицом, сжав кулаки и скинув с себя простыни и одеяло. До погасила свет, укрыла Ми и вернулась на свой диван.

Назавтра вечером к Ми должен был «кое-кто» прийти. Звоня по телефону из «Дюпон-Латен», До имела возможность услышать, как этот «кое-кто» спрашивал, где его сигареты. Ми отвечала: «на столе, прямо перед твоим носом».

— Я тебя сегодня не увижу? — спросила До. — Кто он? Это ты с ним уходишь? А потом мне нельзя будет тебя увидеть? Я могу и подождать. Я могу и расчесывать твои волосы щеткой. Я могу делать все, что угодно.

— Ты меня мучаешь, — ответила Ми.

Во втором часу ночи она постучала в дверь номера До, в гостинице «Виктория». Ми, должно быть, пила, курила и разговаривала без передышки. Она была грустна. До раздела ее, дала свою пижаму, уложила на свою кровать и, пока не зазвонил будильник, она, не смыкая глаз, баюкала Ми в своих объятиях, прислушиваясь к ее ровному дыханию и повторяя себе: «теперь это не сон, она со мной, она моя, расставшись с ней, я унесу ее с собой, я стала ею».

— А тебе обязательно нужно туда идти? — спросила Ми, приоткрыв глаза. — ложись обратно. Я включаю

тебя в «главную книгу».

— Куда?

— В расходную ведомость крестной. Ложись. Я заплачу.

До уже оделась, собираясь уходить. Она ответила, что это чушь, она не игрушка: хочу — поиграю, хочу — брошу. Банк платит ей жалование, выдается оно каждый месяц, она на это жалование живет. Ми в ярости села, лицо у нее было свежее, отдохнувшее, глаза ясные.

— Ты говоришь точь-в-точь как один мой знакомый. Если я сказала, что заплачу, значит заплачу. Сколько тебе дает твой банк?

— Шестьдесят пять тысяч в месяц.

— Оклад повышен, — сказала Ми. — Ложись обратно, иначе получишь расчет.

До сняла пальто, поставила варить кофе, посмотрела в окно на свое солнце Аустерлица, которое не было еще в зените. Когда она подала Ми чашку с кофе в постель, она знала, что с этого утра ее восхождение будет продолжаться, и отныне все, что она сделает или скажет, когда-нибудь может быть использовано против нее.

— Ты премилая игрушка, — сказала Ми. — Кофе у тебя вкусный. Ты давно здесь живешь?

— Несколько месяцев.

— Собирай вещи.

— Мики, пойми же! Ведь то, что ты меня заставляешь сделать, вещь серьезная.

— Представь себе, я это уже поняла два дня назад. Как, по-твоему, много есть на свете людей, которые спасли меня во время кораблекрушения? К тому же я уверена, что плавать ты не умеешь.

— Не умею.

— Я тебя научу, — сказала Ми. — Это легко. Смотри: руками надо двигать вот так, видишь. А ногами работать труднее...

Она смеясь, толкнула До на кровать и стала сгибать и разгибать ей руки, потом вдруг посмотрела на До без тени улыбки и сказала, что она знала, как все это серьезно, но не думала, что на столько.

Следующие ночи До провела на диване в передней номера четырнадцатого в «Резиденс Уошингтон», — так сказать, на роли привратницы, оберегающей любовные забавы Ми, которая спала в соседней комнате с довольно чванным и противным молодчиком. С тем самым, которого До видела в банке. Звали его Франсуа Руссен, он работал секретарем в конторе у адвоката и не лишен был известного лоска. А так как у него были такие же мутноватые замыслы, что и у До, то они сразу и откровенно друг друга возненавидели.

Ми утверждала, что он красивый и безобидный. Однако До почувствовала себя почти счастливой, когда однажды вечером Ми спросила ее, оставила ли она за собой номер в «Виктории». Ми пожелала провести там с кем-то ночь. За номер было заплачено до марта. Ми пропадала три вечера.

Бывали и такие вечера, когда Ми сидела дома. Самые приятные для До. Ми не переносила одиночества. Кто-нибудь должен был двести раз провести щеткой по ее волосам, помыть ей спину, погасить ее сигарету, если она задремлет, слушать ее монологи: для всего этого и существовала До. В такие вечера она предлагала пообедать «по-холостяцки», и в номер подавали невероятные яства (например, яичницу-болтунью) в серебряных кастрюльках. Она учила Ми складывать особым образом салфетки, так что получались фигурки зверей, то и дело называла ее своим светиком или своей красавицей. Это было едва ли не самое важное, ведь Ми перед сном испытывала потребность в отвлечении, в разрядке, которую давало ей иногда снотворное, иногда любовники, иногда собственная бессмысленная болтовня; а потребность эта была ничем иным, как старинной боязнью темноты, которую мы испытываем, когда мама оставляет нас одних в комнате. Эти наиболее ярко выраженные особенности Ми (по мнению До — уже явно патологические) корнями своими уходили прямо в детство.

В марте До стала всюду сопровождать Ми (вернее — Мики, как называли ее все), и только у Руссена Ми бывала одна. Сводилось это к совместным поездкам по Парижу в машине, из одного магазина в другой, либо к светским визитам или к партии в теннис на закрытом корте, а иной раз разглагольствованиям с неизвестными людьми за столом в ресторане. Часто до оставалась одна в машине, включая радио, составляла в уме проект письма, которое напишет вечером крестной Мидоля.

Первое письмо До было датировано днем ее нового «назначения». Она писала, что имела счастье встретиться с Ми, сообщала, что все благополучно, выражая надежду, что столь же благополучно все и у крестной, которая ведь «немного сродни» и самой До. Далее следовали всякие происшествия, имевшие место в Ницце, одна-две шпильки, тщательно замаскированные, по адресу Мики и обещание расцеловать крестную при первом же посещении Италии.

Отправив письмо, До тут же пожалела, что не удержалась от шпилек: очень уж заметно. Крестная Мидоля тонкая бестия, — недаром же она с тротуаров Ниццы ухитрилась попасть в итальянские дворцы — она сразу все учует. Но ничуть не бывало. Ответ пришел через четыре дня, и прямо-таки ошеломляющий. До, мол, для нее — сущее благословение. Она осталась точь-в-точь такой, какой помнит милую девочку ее крестная Мидоля: кроткой, рассудительной, любящей. До, к сожалению, наверное, заметила, что «их» Мики очень переменялась. В конце выражалась надежда, что эта чудесная встреча окажет на Ми благотворное влияние; к письму прилагался чек.

До вернула чек в своем втором письме, обещав делать все, что в ее силах ради «их» баловницы, которая просто очень порывистая, хоть иной раз и может показаться, что у нее нет сердца. За сим — «тысяча поцелуев, всем сердцем ваша».

В конце марта До получила пятое ответное письмо. Оно было подписано: «твоя крестная».

В апреле До выпустила коготки. Однажды вечером, за столиком в ресторане, она при Ми открыто атаковала Руссена, оспорив меню, предложенное «вверенной ее попечению» особе. Суть была, конечно, не в том, что Мики плохо спала после курятины под винным соусом, а в том, что Франсуа мерзавец, подхалим, лицемер и До уже видеть не могла его физиономии.

Через два дня дело приняло более серьезный оборот. Ресторан был уже другой, повод для спора — тоже, но Франсуа-то остался мерзавцем, и он дал сдачи. До услышала, что она не чиста на руку, играет на чувствах подружки, не чужда порокам, распространенным в закрытых учебных заведениях. При последнем обмене репликами, довольно-таки хлесткими, Мики замахнулась. До уже приготовилась получить оплеуху, но поняла, что выиграла поединок, когда рука Мики стукнула мерзавца по физиономии.

Она поторопилась с выводами. Когда они вернулись в «Резиденс», Франсуа устроил сцену, заявил, что не собирается ночевать с двумя, — с юродивой и аферисткой — и ушел, хлопнув дверью. Сцена продолжалась между до, которая, оправдываясь, еще резче обличала Франсуа, и Ми, разъяренной тем, что ей пришлось услышать малоприятные истины. Это была не та шуточная драка, которая происходила в памятный вечер, когда девушки рассматривали фотографии. У До пошла носом кровь, Ми потащила ее, рыдающую, в ванную и впервые в жизни собственноручно наливала ванну и подавала полотенца.

Три дня они не разговаривали, Франсуа явился на завтра после драки. Он окинул критическим взглядом До, и бросил ей: «Ну что ж, моя цыпочка, образина стала почище прежней», — и увел Ми, чтобы отпраздновать это событие, а вечером До снова взяла щетку для волос и безмолвно приступила к своим «обязанностям». Еще через день, сообразив, что хоть говорить — беда, а молчать — другая, она уткнулась головой в колени Ми и попросила прощения. Они заключили мир, скрепив его слезами и солеными поцелуями, и Ми вытащила из своих шкафов целый ворох униженных и жалких подарков. Она три дня носилась по магазинам, чтобы рассеяться.

И надо же было коварной судьбе на той же неделе столкнуть До с Габриелем, которого она не видела месяц. Она как раз выходила из парикмахерской, и лицо ее еще хранило следы истерического припадка Ми. Габриель усадил ее в свою «Дофину» и сделал вид, что более или менее примирился с их разрывом: он просто беспокоился за нее, и все. Но теперь, увидев ее в таком гриме, он будет еще больше беспокоиться. Что же это с ней делают?

До рассказала — обманывать Габриеля было не в ее интересах.

— Она тебя избила? И ты терпишь?

— Я не могу тебе этого объяснить. Мне с ней хорошо. Она нужна мне как воздух. Ты не поймешь. Мужчины понимают только мужчин.

Габриель и в самом деле неодобрительно покачал головой, однако у него мелькала еще неясная и все же правильная догадка. До старается его уверить, что она прямо-таки влюблена в кузину с длинными волосами. Но он знал До. До не способна ни в кого влюбиться. Если она терпит побои истеричной девчонки, стало быть, у нее что-то на уме: какая-то глупость, весьма несложная мыслишка, которая куда опаснее ее мнимой влюбленности.

— На что ты живешь с тех пор, как ушла из банка?

— Она дает мне все, чего я хочу.

— А дальше что будет?

— Не знаю я ничего. Знаешь, она не злая. Она меня очень любит. Я встаю когда мне хочется, у меня много разных платьев, я всюду с ней бываю. Ты этого понять не можешь.

До простилась с Габриелем, спрашивая себя, действительно ли он не понимает. Но он тоже очень ее любил. Ее все очень любили. Никто не мог бы прочесть по ее глазам, что после того, как ее избили, в ней что-то умерло. А

нужна ей была не та взбалмошная девчонка, но жизнь, которую До слишком долго вела только в мечтах. Что ж, за побои Мики когда-нибудь заплатит, обещала же она заплатить за все. Но не это главное. Ей придется сполна заплатить и за иллюзии мелкой банковской служащей, которая ведь ни на кого не рассчитывала, ни у кого не просила любви, не думала, что мир станет краше, если ее приласкают.

Уже несколько дней Доменику томило предчувствие, что она убьет Ми. Простившись на тротуаре с Габриелем, она просто сказала себе, что сейчас у нее одним поводом больше. Она не только покончит с бесполезным, бездушным насекомым, но и с собственным чувством унижения и злобы.

До вынула из сумочки темные очки. Во-первых, потому что иначе каждый и в самом деле может прочитать черт-те что в вашем взгляде. Во-вторых, потому что у нее под глазом был фонарь.

В мае своеволие Мики уже перешло границы дозволенного. Вняв вздорным советам Руссена, на которые он был мастер, она вздумала поселиться в особняке на улице Курсель, принадлежавшем крестной Мидоля. Синьора Рафферми никогда там не жила. Мики очертя голову стала переделывать дом по-своему. И так как она была упряма, а кредита ей не оказывал никто, кроме тетки, то за двое суток отношения между Парижем и Флоренцией весьма обострились.

Мики добилась нужных ей денег, оплатила свои векселя, заказала художников и мебель, но ей навязали в качестве управляющего делами Франсуа Шанса и срочно вызвали на подмогу первостатейную каргу, личность легендарную и лютую, благо в списке ее заслуг числилась собственноручная порка Мики.

Карга звалась Жанной Мюрно. Мики рассказывала о ней мало и в таких мерзких выражениях, что нетрудно было вообразить, какой ужас наводила на нее Мюрно. Снять с Мики штанишки и отшлепать ее по мягкому месту, когда ей было четырнадцать лет, — уже одно это являлось подвигом. Но сказать «нет», когда Мики в свои двадцать говорит «да», и урезонить ее — такое бывает только в сказках и кажется совершенно неправдоподобным.

Впрочем, не все тут было правдой. До поняла это, едва увидев каргу. Она была высокая, золотоволосая, спокойная. Мики не боялась, не ненавидела ее, дело обстояло хуже. Она не переносила присутствия Жанны, даже когда та находилась в трех шагах от нее. Она так безмерно боготворила Жанну, так явно теряла при ней душевное равновесие, что До была этим потрясена. Может статься, не одни только банковские служащие плачут в подушку. Ми, по-видимому, много лет мечтала о такой Мюрно, какая не существовала в природе, и любое столкновение с ней вызывало боль, она сходила с ума, когда Жанна появлялась. До, зная о карге только понаслышке, была поражена ее значением в жизни Мики.

Это был вечер, ничем не отличавшийся от обычных вечеров. Мики переодевалась, собираясь пойти куда-то с Франсуа. До читала, сидя в кресле; она-то и пошла отворить дверь. Жанна посмотрела на До, словно перед ней был заряженный пистолет, сняла пальто и позвала, не повышая голоса:

— Мики, ты идешь?

Мики появилась в купальном халате, сияясь улыбнуться дрожащими губами, похожая на уличенную преступницу. Произошел краткий диалог по-итальянски, из которого До поняла немного. Ми стояла, переминаясь с ноги на ногу, сама на себя непохожая.

Жанна стремительно подошла к ней, поцеловала ее в висок, взяла за локти, отстранила и несколько долгих минут пристально разглядывала. Вероятно, она говорила что-то не очень приятное. Голос у нее был низкий, спокойный, но слова звучали резко, как свист бича. Мики только встряхивала своими длинными волосами и не отвечала. Наконец До увидела, как она, побледнев, вырвалась из рук карги и отпрянула, запахивая халат.

— Я тебя не просила приезжать! Могла сидеть дома! Да, я не изменилась, но и ты тоже. Ты как была стерва-Мюрно, так стервой и осталась. А ново только то, что ты мне осточертела.

— Вы Доменика? — круто повернувшись к ней лицом, спросила Жанна. — Пойдите же, закройте краны в ванной.

— Не смей двигаться с места без моего разрешения! — вмешалась Мики, загораживая ей дорогу. — Оставайся здесь. Если ты слушаешься ее хоть раз, ты от этой бабы никогда не отвяжешься.

До невольно отступила на несколько шагов назад. Жанна повела плечами и пошла сама закрывать краны. Когда она вернулась, Мики толкнула До в кресло и стала рядом. Губы ее дрожали.

Жанна остановилась на пороге, огромная, светловолосая великанша, и заговорила скороговоркой, чтобы ее нельзя было перебить, заканчивая каждую свою фразу, как точкой, взмахом указательного пальца. До услышала несколько раз свое имя.

— Говори по-французски, — сказала Мики. — До не понимает. Ты лопаешься от зависти! Ей стало бы все ясно, если бы она знала по-итальянски. Да погляди ты на себя, ты же лопаешься от зависти! Если бы ты видела

свое лицо! Ты сейчас уродина, ну просто уродина!

Жанна улыбнулась и ответила, что До тут ни причем. Если До будет так любезна и выйдет на несколько минут из комнаты, это будет лучше для всех.

— До останется на месте! — сказала Мики. — Она все отлично понимает. Она слушается меня, а не тебя.

— Когда ты перестанешь кривляться, — спокойно сказала Жанна Мюрно, — ты пойдешь оденешься и уложишь свои вещи в чемодан. Рафферми хочет тебя видеть.

Мики выпрямилась — из них трех хуже всего чувствовала себя она, — поискала взглядом чемодан, потому что где-то в комнате был чемодан. Куда же он запропал? Чемодан, открытый и пустой, оказался на ковре за спиной Мики. Она подняла его обеими руками и швырнула в Жанну Мюрно, но промахнулась.

Мики сделала два шага, крикнув что-то по-итальянски, вероятно ругательство, схватила с камина вазу — голубую, прелестную вазу, довольно увесистую, и тоже бросила в голову золотоволосой великанше. Та осталась невредима, хотя даже пальцем не пошевелила. Ваза разбилась вдребезги о стенку. Жанна обогнула стол, большими шагами подошла к Мики, взяла ее одной рукой за подбородок, а другой дала ей пощечину.

Затем она надела пальто, сказав, что ночует сегодня на Курсель, что завтра в двенадцать вылетает и взяла билет на самолет для Мики. В дверях она добавила, что Рафферми при смерти. В распоряжении Мики — десять дней, если она хочет повидать крестную. Как только Жанна ушла, Мики упала в кресло и расплакалась.

До позвонила у подъезда особняка на улице Курсель, когда по ее расчету, Ми и Франсуа уже входили в театр. Жанна Мюрно не очень удивилась ее появлению. Сняв с До пальто, она повесила его на ручку двери.

Повсюду в доме стояли стремянки, ведра с краской, валялись вороха сорванных обоев.

— У нее все-таки есть вкус, — сказала Мюрно. — В общем, здесь будет очень красиво. Но от запаха краски у меня делается мигрень, а вам ничего? Пойдемте на второй этаж, это более или менее жилая часть дома.

Наверху, в спальне, которую уже обставили кое-какой мебелью, они уселись рядом на кровати.

— Кто будет говорить первой, вы или я? — спросила Жанна.

— Говорите вы.

— Мне тридцать пять лет. Семь лет назад мне отдали в руки эту окаянную девчонку. Не скажу, чтобы я гордилась тем, что из нее вышло, но нечем было мне гордиться и тогда, когда я ее получила. Вы родились четвертого июля тысяча девятьсот тридцать девятого года. Вы служили в банке. Восемнадцатого февраля нынешнего года вы посмотрели на Мики своими большими и кроткими глазами, после чего переменили профессию. Теперь вы на должности куклы, которая, не моргнув глазом, принимает тумачи и поцелуи, вам легко прикидываться этакой душкой, вы оказались более миловидной, но не менее занудной, чем я думала. У вас на уме есть одна мыслишка, а у кукол обычно мыслей не бывает.

— Я не понимаю, о чем вы говорите.

— Тогда дайте договорю. У вас на уме мыслишка, старая как мир. Впрочем, это даже не мысль, а так, что-то мутное, неопределенное, какой-то внутренний зуд. Многие испытали это раньше, чем вы, в частности и я, но куда нам до вас, вы гораздо глупей и решительней. Мне хочется, чтобы вы меня сразу поняли: беспокоит меня не мыслишка, а то, как бы вы не стали носить ее знамя. Вы уже натворили столько глупостей, что взбудоражили по меньшей мере два десятка человек. Если они так же ограничены, как Франсуа Руссен, то вам придется признать, что положение серьезное. О Рафферми можно сказать что угодно, но у нее светлая голова. А считать Мики дурочкой

— недомыслие. У вас силенок не хватит, а вы лезете, и это меня раздражает.

— И все-таки я не понимаю, — сказала До.

У нее пересохло в горле, и она говорила себе: «это от запаха краски». Она попыталась встать, но золотоволосая великанша спокойно усадила ее на кровать.

— Я читала ваши письма к Рафферми.

— Она вам их показывала?

— Вы живете в мире грез. Я их видела, вот и все. И приколотое к ним донесение сыщика: «брюнетка, рост — 168 см, родилась в Ницце, мать — приходящая прислуга, отец — счетовод, имела двух любовников, одного — в восемнадцать лет, в течение трех месяцев, второго — в двадцать лет, до приезда Мики, получает шестьдесят пять тысяч франков в месяц за вычетом налогов по социальному страхованию, отличительная черта: глупость».

До вырвалась из ее рук и кинулась к двери. На первом этаже она не нашла своего пальто. Из соседней комнаты вышла Жанна Мюрно и подала его до.

— Не ребячьтесь. Мне надо с вами потолковать. Вы, конечно, еще не обедали. Пообедаем вместе.

В такси Жанна Мюрно назвала шоферу адрес ресторана подле Елисейских полей. Когда они сели лицом к

лицу, по обе стороны настольной лампы, До заметила, что Жанна некоторыми своими движениями напоминает Мики, но как-то карикатурно, потому что она была гораздо крупнее Мики. Жанна перехватила ее взгляд и сердито, словно недовольная тем, что так легко читает мысли До по ее глазам, заявила:

— Это она мне подражает, а не я ей. Что вы будете есть?

За обедом она все время сидела, как Мики, склонив голову набок и положив один локоть на стол. Когда она говорила, отставленный указательный палец на ее огромной тонкой кисти как бы подчеркивал важность сказанного. Это тоже был жест Мики, только ярче и значительнее.

— Теперь, как ты знаешь, слово за тобой.

— Мне нечего вам сказать.

— Зачем же ты ко мне пожаловала?

— Чтобы объяснить. Сейчас это уже не имеет смысла. Вы мне не доверяете.

— Объяснить что?

— Что Мики вас очень любит, что она плакала после вашего ухода, что вы слишком резки с ней.

— Правда? Я хочу сказать: это правда, что ты за тем и пришла? Вот видишь, я кое-что в тебе не уловила, пока мы не встретились, теперь-то я начинаю понимать. Ты невероятно высокого мнения о себе. Нельзя же до такой степени считать других людей круглыми дураками.

— Я по-прежнему вас не понимаю.

— А вот мамаша Рафферми поняла, можешь мне поверить! Ах ты, дурочка! И Мики раз в сто хитрее тебя! Если ты не понимаешь, то я заставлю тебя понять. Ты делаешь ставку не на подлинную Мики, а на ту, которую ты выдумала. Ты для нее сейчас — любовь с первого взгляда, это ее несколько ослепляет. Но, судя по тому, как складываются для тебя обстоятельства, ты

— блажь скоропреходящая, ты пройдешь еще быстрее, чем все прочие ее капризы. Но есть кое-что похуже: Рафферми, получив твои письма, и бровью не повела. Когда читаешь эти твои письма, волосы становятся дыбом, да и есть с чего! И я допускаю, что она отвечает тебе ласково. А по-твоему, это не чудно, нет?

— Письма, письма! Да что особенного в моих письмах?

— В них есть один недостаток: они говорят только о тебе: «Как бы я хотела быть Мики, как бы вы меня ценили, если б я была на ее месте, как бы хорошо я использовала ту жизнь, которой вы даете возможность жить ей!» А что, разве нет?

До закрыла лицо руками.

— Не мешало бы тебе кое-что усвоить, — продолжала Жанна Мюрно. — Главный твой козырь, по тысяче причин, которых ты не понимаешь, заключается в том, чтобы нравиться Мики. И быть при ней в нужную минуту. Кроме того, тебе никогда не добиться разрыва между Мики и Рафферми. Этого ты тоже не понимаешь, однако, это так. Так что не стоит тебе выпендриваться. Наконец, у Рафферми за полтора месяца было три кровоизлияния в мозг. Не через неделю, так через месяц она помрет. Твои письма бесполезны и опасны. Останется Мики, и это все.

Жанна Мюрно отодвинула свою полную тарелку — она за обедом ничего не ела, — вынула из лежавшей на столе пачки итальянскую сигарету и добавила:

— Ну и я, очевидно.

К отелю «Резиденс» они шли пешком. По дороге они не разговаривали. Золотоволосая великанша вела До под руку. Когда они дошли до угла улицы лорда Байрона, До остановилась и скороговоркой сказала:

— Я провожу вас, мне не хочется туда заходить.

Они сели в такси. В особняке на улице Курсель запах краски стал как будто еще едче. Когда они вошли в дом, Жанна Мюрно удержала До, которая собиралась пройти дальше, под одной из лестниц маляров. Обняв в темноте До за плечи, она повернула ее лицом к себе и даже чуть-чуть приподняла, так что До привстала на цыпочки.

— Ты будешь сидеть смирно. Никаких писем не писать, ни в какие ссоры ни с кем не ввязываться, никаких глупостей не делать. Через несколько дней вы переселитесь сюда. Рафферми умрет. Я вызову Мики во Флоренцию. Вызову в такой форме, что она не поедет. Что касается Франсуа, то я приготовлю тебе за ручку в игре против него. А тогда незачем будет финтить; устранишь Франсуа и увезешь Мики от него подальше. Заручка будет без изъяна. Тебе скажу, куда повезти Мики. Теперь ты поняла? Ты меня слушаешь?

Стоя в полосе лунного света, струившегося из окна, До кивнула головой. Большие руки золотоволосой девушки еще лежали на ее плечах. До не пыталась больше вырываться.

— Сиди смирно, это все, что тебе нужно делать. Не считай Мики дурой, я так думала до тебя — и ошиблась. Однажды вечером я поставила ее перед собой, вот так, как тебя, и получила такой отпор, какого мне еще никто никогда не давал. Ей было шестнадцать — почти столько, сколько было мне, когда Рафферми взяла меня к себе, и не на много меньше, чем тебе сейчас. Я знаю тебя только по твоим письмам, а они дурацкие, но я и сама в прежние времена писала бы такие же письма. Когда мне навязали на шею Мики, я бы ее с удовольствием утопила. Чувства мои к ней с тех пор не переменились. Но я ее не утоплю. У меня есть другой способ от нее избавиться: ты, маленькая дуреха, которая трясется от страха, но сделает все, что я прикажу, потому что, как и я, жаждет от нее избавиться.

— Пустите меня, пожалуйста.

— Слушай меня. До Мики у Рафферми была другая, такая же девчонка. Восемнадцатилетняя и на несколько сантиметров повыше, — это была я. Я приклеивала каблук к туфлям, наносила клей кисточкой, и было это во Флоренции. А потом все, чему я завидовала, было мне дано. Мне хочется, чтобы ты над этим поразмыслила и пока сидела смирно. Все, что ты испытываешь сейчас, я уже испытывала. Но я кое-чему с тех пор научилась. так не хочешь ли ты над этим поразмыслить? А теперь можешь убираться.

Ее рука потащила До в прихожую, в крошечную тьму. До споткнулась о бидон с краской. Перед ней распахнулась дверь. До обернулась, но великанша, не говоря ни слова, вытолкнула ее на улицу и заперла дверь.

Назавтра До позвонила в двенадцать по телефону Жанне из кафе близ Елисейских полей. Жанна уже уехала. Телефонный звонок, должно быть, эхом отдавался в каждой комнате пустого дома на улице Курсель.

5

Рукой в белой перчатке я сжала ей рот. Она мягко отвела мою руку, встала, и в прямоугольнике света, падавшего из распахнутой двери, возник длинный темный силуэт. Вот так же, в полутьме, мы разговаривали с ней однажды вечером. В тот вечер, положив мне руки на плечи, она предложила мне убить принцессу с длинными волосами.

— Откуда тебе это известно? Есть вещи, о которых ты не можешь знать: например, о той ночи, когда она спала в моей комнате, или о той ночи, когда я бродила под ее окнами. Да и о моей встрече с этим, как его, с Габриелем...

— Неужели же ты не рассказала бы мне об этом! — ответила Жанна. — Ведь мы с тобой в июне две недели жили вместе.

— Ты встречалась с Мики после вашей ссоры в «Резиденс»?

— Нет. Мне это было ни к чему. Я вовсе не собиралась увозить ее в Италию. А во Флоренции я выпила свою чашу до дна. Рафферми совсем ополоумела от бешенства.

— Когда она умерла?

— Через неделю.

— И ты мне ничего больше не сказала перед отъездом?

— Нет. Мне нечего было добавить. Ты очень хорошо понимала, о чем разговор. Ты сама только об этом и думала еще до знакомства со мной.

В комнате стало вдруг светло. Она зажгла лампу. Я прикрыла рукой глаза.

— Пожалуйста, погаси!

— Может, ты все же позволишь мне помочь тебе? Знаешь, который час? Ты уже устала до смерти. Я привезла чистые перчатки. Сними те, что на тебе.

Сейчас, когда эта светловолосая, высокая, заботливая женщина склонилась надо мной, мне снова казалось, что все рассказанное ею только дурной сон. Нет, она добрая, великодушная, а я не способна была замыслить убийство Мики. Это все неправда.

Утром я осталась в постели. Жанна, одетая, примостилась рядом со мной, и мы с ней порешили жить отныне на улице Курсель. Она рассказала мне, как произошло убийство, а я — о вчерашних поисках. Сейчас мне казалось совершенно невероятным, чтобы Франсуа мог не заметить подмены.

— Не так все это просто, — ответила Жанна. — По внешности ты уже не ты, но и не Мики. Я говорю не только о лице, но и о впечатлении в целом. Походка у тебя не та, что у Мики, но и не такая, какая была у тебя прежде. Вы жили с ней несколько месяцев вместе. Последние недели ты, наверное, досконально ее изучила,

чтобы потом ей подражать, это сказывается в каждом твоём жесте. Слушая в первый вечер твой смех, я уже не понимала, кто уже смеется: она или ты. Хуже всего, что я уже не понимала, какой была она, какой была ты, у меня все смешалось. Знала бы ты, какие мысли приходили мне в голову! Я уже стала бояться, что ты играешь передо мной комедию.

— Для чего?

— Почему я знаю! Для того, может быть, чтобы избавиться от меня, остаться одной. Меня сводило с ума, что я ни о чем не могу с тобой говорить, пока ты все не узнаешь. Комедию пришлось ломать мне. Я обращалась с тобой, как будто ты на самом деле Мики, и я совсем запуталась. За эти четыре дня я убедилась в одной ужасной вещи, хотя она многое нам упростит в дальнейшем: как только я увидела твою родинку, я уже забыла, у кого была такая родинка, у тебя или у Мики. Все ведь упомянуть нельзя, понимаешь? Иногда ты делала какой-нибудь жест, и я видела перед собой Мики. Я так долго думала об этом, пока не внушила себе, что я спутала. А на самом деле ты действительно повторяла жест Мики, но потом двигалась и говорила как ты. Недаром же ты неделями твердила себе: настанет день, когда мне придется делать все точь-в-точь, как она.

— Неужели же этого довольно, чтобы ввести в заблуждение Франсуа Руссена? Не может быть. Я провела с ним полдня.

— Ты была Ми. Он говорил с тобой о Ми, и ему казалось, что он держит в объятиях Ми, да и при том он ведь хищник: много ли он обращал на нее внимания? Спал то он с ее наследством. Больше ты с ним не увидишься. А вот твоё встреча с Франсуа Шансом беспокоит меня куда больше.

— Он ничего не заметил.

— А я и не дам ему возможности что-либо заметить. Теперь мы примемся за дело по-настоящему.

Она сказала, что самое опасное ждет нас, когда мы приедем во Флоренцию. Ми знали там многие годы. В Ницце же опасаться нам нужно только отца Ми. И вдруг до моего сознания дошло, что мне придется встретиться с человеком, дочь которого я убила, и броситься ему на шею, как сделала бы это она. А между тем мои отец и мать там же, в Ницце, оплакивают погибшую дочь. Они, конечно, захотят меня увидеть, захотят поговорить со мной о До, они взглянут на меня с ужасом — узнают!

— Не говори глупости! — воскликнула Жанна, схватив меня за руки. — Тебе не зачем их видеть! Вот отца Мики придется. Ну поплачешь немножко — это объяснят твоим волнением. А твоих родителей тебе лучше никогда не вспоминать. Да и помнишь ли ты их еще?

— Нет. А что, если вспомню?

— К тому времени ты станешь другой. Ты и сейчас не та, а другая. Ты — Мики. Мишель-Марта-Сандра Изоля, и родилась ты 14 ноября 1939 года. Ты стала моложе на пять месяцев, потеряла отпечатки пальцев и выросла на один сантиметр. И точка.

На этом мои страхи не кончились. В полдень Жанна съездила в Нейи за нашими вещами. Я спустилась в халате в сад, чтобы помочь ей внести вещи в дом, но она отослала меня, сказав, что этак я могу себе «и могилку схлопотать».

Но о чем бы мы ни заговаривали, моя мысль непрестанно возвращалась к ночи на мысе Кадэ, о которой Жанна мне рассказывала. Я не хотела об этом думать. Я отказывалась смотреть кадры фильма с Мики, которые Жанна сняла во время каникул и которые помогли бы мне подражать Мики. Однако любое слово, сказанное нами, приобретало сейчас двойной смысл и вызывало в моем воображении картины гораздо более мучительные, чем все кинофильмы.

Жанна одела меня, заставила позавтракать, посетовала, что должна оставить меня часа на два одну, так как надо ехать к Франсуа Шансу, чтобы сгладить впечатление от наделанных мною вчера глупостей.

Всю вторую половину дня я томила, пересаживаясь с кресла на кресло, глядела в зеркала, снимала перчатки, разглядывала свои руки. Подавленная, я с ужасом наблюдала эту чужую девушку, которая поселилась во мне и была для меня ничто, пустой звук, только слова.

Больше, чем совершенное мной преступление, страшило меня другое: что я попадаю под чье-то влияние, становлюсь пустой игрушкой, марионеткой в руках трех незнакомых. Которая из них сильнее тянет нити, управляющие марионеткой? Маленькая, завистливая банковская служащая, терпеливая, как паук? Мертвая ли принцесса, — та, что когда-нибудь непременно снова взглянет в упор на меня из зеркала, раз уж я хочу ею стать? Или рослая молодая женщина с золотистыми волосами, которая издали, в продолжении многих недель, руководила мною, готова к убийству?

— Когда крестная Мидоля умерла, — рассказывала Жанна, — Мики и слышать не хотела о поездке во Флоренцию. Похороны состоялись без нее. Она даже не потрудилась объяснить свое поведение близким

синьоры Рафферми.

В тот вечер, когда Мики узнала о смерти крестной, она решила кутнуть с Франсуа и своими друзьями. Я была с ней. Мики напилась, устроила дебош в кабачке подле площади звезды, обругала выпроваживающих нас полицейских. Дома она плакала, вспоминая покойную мать, свое детство. Пришлось дать ей снотворное.

Несколько дней она была предметом всеобщего внимания. Ей соболезновали по поводу кончины тетки, приглашали в гости. Мики вела себя образцово, как достойная наследница миллиардов Рафферми. Еще до того, как закончился ремонт на улице Курсель, мы перебрались туда.

Однажды днем, когда была одна в новом доме, я получила телеграмму от Жанны. Телеграмма содержала только фамилию и номер телефона во Флоренции. Я тотчас же позвонила Жанне. Сначала она обозвала меня идиоткой за то, что я звоню из дома Мики, а затем, поскольку пришло время отделаться от Франсуа, приказала мне действовать следующим образом: у меня якобы явилось подозрение, что Руссен плутует, поэтому я советую Мики проверить смету работ в особняке Курсель и разобраться, нет ли там каких-нибудь махинаций между ее любовником и подрядчиками. Жанна велела мне вызвать ее по тому же номеру телефона и в тот же час через неделю, но не из дому, а из почтового отделения.

На другой же день Мики произвела расследование, переговорила с подрядчиками и, как она и предполагала, не обнаружила ничего подозрительного в предъявленных счетах. Я спрашивала себя, что у Жанны на уме. Ведь Франсуа Руссен явно надеялся сорвать куш гораздо больший, чем комиссионные за малярные работы или заказанную мебель, ему не могла бы прийти в голову мысль так грубо обмануть Мики.

Я поняла, в чем суть, когда мы с Мики вернулись домой и я стала свидетельницей сцены, которую пришлось выдержать Франсуа Руссену. Он взял на себя все дела по ремонту. Оказывается, он послал во Флоренцию копии счетов и смет еще до того, как Мики сообщила туда о своих планах отремонтировать особняк. Франсуа защищался, как мог, объяснял, что, будучи подчиненным Шанса, должен вести переписку с Рафферми. Мики обозвала его подхалимом, ябедником, кричала, что он примазывается, чтобы получить приданое, и выгнала вон.

Наверное, она все же встретилась бы с ним на другой день. Но теперь я уже знала, чего добивалась Жанна. Мне оставалось только действовать согласно ее указаниям. Мики отправилась к Шансу, но ему ничего не было известно. Тогда она позвонила по телефону во Флоренцию одному из секретарей Рафферми и выяснила, что Руссен, стараясь выслужиться перед Рафферми, постоянно ее обо всем осведомлял. Самое смешное, что он, как и я, возвратил ей чеки, которыми она хотела его подкупить.

Я позвонила Жанне в условленный день и час. Май подходил к концу. В Париже стояла чудесная погода, на юге еще лучше. Жанна велела мне ублажать Мики, как я это умею, и уговорить ее взять меня с собой на юг. У Рафферми была вилла на взморье, в местности, которая называлась мыс Кадэ. «там-то мы и встретимся, когда наступит подходящий момент», — сказала Жанна.

— Подходящий момент для чего?

— Заткнись, — отрезала Жанна. — Я сделаю все, что надо, чтобы помочь тебе ее убедить. Твое дело маленькое: быть душкой, а я буду думать за нас обеих. Вызовешь меня опять через неделю. Надеюсь, вы будете уже готовы к отъезду.

— Завещание еще не вскрыли? Есть какие-нибудь неприятности? Имею же я право знать...

— Повесь трубку, — сказала, Жанна. — Надоела.

Через десять дней, в начале июня, мы с Мики были уже на мысе Кадэ. Мы добирались туда целую ночь на ее маленькой машине, битком набитой чемоданами. Утром мадам Иветта, местная жительница, знавшая Мюрно, открыла виллу.

Она была большая, залитая солнцем и напоенная ароматом сосен. Мы спустились на пустынный, покрытый галькой пляж у подножия скалы, на которой возвышался дом, и выкупались. Мики учила меня плавать. Затем мы, как были в купальных костюмах, так и повалились на кровать и проспали до самого вечера.

Я проснулась раньше. Долго глядела на Мики, спавшую рядом, стараясь угадать, какие сны витают за ее сомкнутыми длинными ресницами. Отодвинувшись, я тронула ее ногу: она была теплая и живая. Меня охватило ужасное отвращение к самой себе. Я взяла машину, поехала в ближайший городок Ля-Сьота и сказала Жанне по телефону, что я противна самой себе.

— Тогда катись обратно, откуда взялась. Поступи в другой банк. Ходи стирать белье, как твоя мать. И отвяжись от меня.

— Будь вы здесь, все было бы иначе. Почему вы не приезжаете?

— Откуда ты звонишь?

— С почты.

— Тогда слушай внимательно. Я посылаю тебе телеграмму в Ля-Сьота на имя Мики по адресу «кафе Дезирады». Это последнее кафе в конце пляжа, чуть не доезжая поворота налево, который ведет к мысу Кадэ. Мимоходом скажи там, что ждешь телеграмму, и заедешь за ней завтра утром. Позвони мне потом. А теперь повесь трубку.

Я остановилась у кафе, заказала кока-колу и попросила хозяина принять корреспонденцию, которая может сюда прийти на имя Изоля.

В тот вечер Мики захандрила. После обеда, который подала нам мадам Иветта, мы привязали ее велосипед сзади к кузову машины и отвезли Иветту в Лек, где она жила. Затем Мики решила продолжать путь в более цивилизованные края, повезла меня в Бандоль, танцевала там до двух часов ночи, объявила, что мальчики на юге скучные, и мы вернулись домой. Выбрав спальню себе, затем мне, она сонно чмокнула меня в щеку и ушла, говоря: «Мы, конечно, не станем прозябать в этой дыре». А так как мне хотелось в Италию, Мики обещала туда меня повезти, показать Неаполитанский залив, Кастелламаре, Соррента, Амальфи. «Вот это будет шикарно! Спокойной ночи, цыпленок».

В полдень я заехала в «Кафе Дезирады». Телеграмма Жанны была какая-то не понятная: «Кларисса прокладка. Целую». Я снова вызвала Флоренцию из почтового отделения в Ля-Сьота.

— Ей здесь не нравится. Хочет увезти меня в Италию.

— Вряд ли у нее хватит денег, — ответила Жанна. — Занять ей не у кого, она не преминет обратиться ко мне. Без ее вызова я приехать не могу

— она не потерпит. Ты получила мое послание?

— Да, но я ничего не понимаю.

— Я и не надеялась, что ты поймешь. Я имею в виду второй этаж, вторая дверь направо. Советую тебе заглянуть туда и пораскинуть мозгами. Думать всегда лучше, чем говорить, особенно по телефону. Отвинчивать, смачивать каждый день — вот все, что от тебя требуется. Повесь трубку и поразмысли. разумеется, о поездке в Италию не может быть и речи.

Я слышала в трубке потрескивания и приглушенные голоса, доносившиеся с промежуточных станций на всем протяжении от Ля-Сьота до Флоренции. Конечно, стоило к кому-нибудь прислушаться... Но что могло бы насторожить его внимание?

— Вызвать вас снова?

— Через неделю. Будь осторожна.

Я вошла в ванную подле моей комнаты в конце дня, когда Мики лежала на пляже. «Кларисса» оказалась маркой газовой колонки. Должно быть, газ провели совсем недавно — трубы даже не были покрашены. Одна из них шла по верху стены вокруг всей комнаты. У колена трубы я заметила стык. Я отправилась в наш гараж за гаечным ключом. Нашла я его в инструментальной сумке машины. Мадам Иветта мыла каменный пол в нижнем этаже. Она была женщина разговорчивая, и я потеряла из-за нее несколько минут. Я вернулась в ванную, дрожа от страха, как бы не пришла Мики. Каждый раз, когда мадам Иветта переставляла внизу стул, я вздрагивала.

Однако я отвернула соединительную гайку и вынула прокладку. Это была толстая пластинка из материала, похожего на пропитанный чем-то картон. Положив прокладку на место, я снова ввернула гайку, открыла газ и зажгла фитилек, который раньше погасила.

Пряча гаечный ключ в сумку с инструментами, я заметила в конце дорожки, ведущей к пляжу, Мики.

План Жанны был мне не вполне ясен. Смачивать каждый день прокладку... Я понимала, делается это для того, чтобы она мало-помалу, как будто сама по себе, расплзлась. Размокание объяснит потом воздействием пара от ванн, которые мы принимаем. Тем не менее я решила почаще принимать ванну — пусть на потолке и на стенах будут пятна от сырости. Но чего мы этим добьемся? Жанна хочет, чтобы я испортила проводку: значит, она хочет устроить пожар. При зажженном фитиле газ, вытекающий из трубы, может вызвать взрыв, но ведь никогда не будет столько, сколько нужно: гайка задержит утечку.

Допустим, план Жанны разработан лучше, чем я предполагаю, и пожар может произойти, что мы от этого выиграем? Если Мики погибнет, я тоже останусь ни с чем.

Неделю я выполняла приказ Жанны, не смея додумать его до конца. Я размачивала прокладку в воде, разминая ее пальцами и чувствуя, как вместе с ней разрушается моя решимость.

— Не понимаю, чего вы добиваетесь, — сказала я по телефону Жанне. — Поэтому слушайте: либо вы приедете сейчас, либо я все брошу.

— Ты сделала то, что я сказала?

— Да. Но я хочу знать, что дальше? Не понимаю, какую выгоду вы находите в этой затее, зато хорошо знаю,

что мне она не сулит никакой.

— Не болтай глупости. Как Мики?

— Хорошо. Купается. Играем в плавательном бассейне в шары. Наполнить его водой не удалось. Никто не знает, как это делается. Совершаем прогулки.

— Ты умеешь говорить, как Мики?

Я не поняла вопроса.

— Это, моя милочка, как раз то, ради чего тебе выгодно продолжать. Поняла? Нет? Ну ничего. А теперь говори со мной, как Мики. Изобрази ее, а я послушаю.

— Да разве это жизнь? Начать с того, что Жанна ведь чокнутая! Знаешь, под каким знаком она родилась? Под знаком Тельца. Бойся Тельца, цыпленок, от него она такая и стала: шкура шкурой! Ты под каким знаком родилась? Рак, это не плохо. То-то глаза у тебя рачьи. Я знала одного человека, у него были такие же глаза: вот такие, смотри — большие-пребольшие. Знаешь, это было ничего, занятно. А ее мне жаль, она бедняга: длинней на десять сантиметров, чем нужно, оттого и не чувствуешь себя уверенной. А знаешь, что она вообразила?

— Хватит, — сказала Жанна. — Не хочу этого знать!

— А ведь интересно? Правда, по телефону этого не скажешь. Ну что, получилось?

— Нет. Ты повторяешь ее слова, а не играешь ее. Что, если бы тебе пришлось ее играть? Поразмысли-ка над этим. Я приеду через неделю, как только она меня позовет.

— Не мешало бы вам запастись к приезду вескими доводами. Потому что с тех пор, как вы мне твердите «поразмысли», — я стала размышлять.

Вечером в машине, по дороге в Бандоль, где она решила пообедать, Мики сказала, что встретила днем занятого парня. И у этого занятого парня мысли тоже занятные. Посмотрев на меня, она добавила, что в конце концов начнет получать удовольствие от жизни здесь.

В свои денежные затруднения она меня не посвящала. Когда мне нужны были деньги, я обращалась к ней. На другой день она остановила, не объясняя мне зачем, машину у почты в Ля-Сьота. Мы зашли вместе, я была ни жива ни мертва, оказавшись там с Мики. А заведующая почтой, как на грех, еще спросила меня:

— Вам Флоренцию?

К счастью, Мики не обратила на это внимания или подумала, что вопрос относится к ней. Она действительно хотела отправить телеграмму во Флоренцию. Составляя ее, Мики очень веселилась, потом показала мне текст, из которого я поняла, что она просила денег, а следовательно, Жанна скоро приедет. Это и была та пресловутая телеграмма с «глазками, ручками, губками» и призывом «быть добренькой».

Три дня спустя, 17 июня, приехала Жанна в своем белом «Фиате». Смеркалось. Вилла была полна гостей — девушек и юношей, которых Мики привела с местного пляжа. Я выбежала Жанне навстречу. Поставив машину, она сунула мне в руки чемодан и молча повела меня в дом.

С ее появлением воцарилось молчание, затем все стали расходиться. Не сказав ей ни слова, Мики трагически просталась в саду со своими гостями, умоляя всех навестить ее при более благоприятных обстоятельствах. Она была пьяна и очень возбуждена. Жанна, казавшаяся мне особенно моложавой в своем летнем платье, уже наводила порядок в комнатах.

Вернувшись из сада, Мики, с бокалом в руке, уселась в кресло, заметила, что мне незачем брать на себя роль уборщицы (я помогала Жанне), и напомнила сказанные ею однажды слова: «Если ты хоть раз послушаешься этой дылды, ты от нее никогда не отвяжешься».

Затем она сказала Жанне:

— Я тебя просила чек прислать, а не приезжать. Гони чек, переночуй здесь, если хочешь, но чтобы завтра я тебя здесь не видела.

Жанна подошла к ней, долго на нее смотрела, затем наклонилась, взяла ее на руки и понесла под душ.

Через некоторое время Жанна вышла ко мне — я сидела на краю бассейна в саду, — и, сказав, что Мики успокоилась, предложила прогуляться.

Я села в ее «Фиат», и мы отправились. В сосновой роще, между мысом Кадэ и поселком Лек, Жанна остановила машину.

— Четвертого июля твой день рождения, — сказала она. — Вы будете обедать в ресторане и малость кутнете, впоследствии это покажется вполне естественным. Именно в эту ночь все и произойдет. В каком состоянии прокладка?

— Она стала какая-то ноздреватая, как папье-маше, но ваш план никуда не годится: гайка задерживает утечку газа.

— Дура! Гайка, которой в эту ночь будет завинчена труба, не помешает утечке. У меня есть другая гайка! Точно такая же. Я ее слямзила у того же слесаря. Она с трещиной — и на изломе совершенно ржавая. Ты меня слушаешь? Пожар, следствие, экспертиза — все это проблема несложная. Газ провели в этом году. А гайка, которую найдут, — с изъяном и проржавела не сегодня. Дом застрахован на ничтожную сумму: об этом позаботилась я, недаром же я его выбрала. Даже страховая компания не станет доискиваться причины пожара. Проблема для нас — ты.

— Я?

— Проблема заключается в том, как тебе занять ее место.

— Я думала, у вас и на этот счет есть план. И другой, чем мне представляется.

— Другого нет.

— Я должна все буду сделать одна?

— Если я окажусь здесь во время пожара, то мое свидетельство при опознании поставят под сомнение. А необходимо, чтобы я первая тебя опознала. Как ты полагаешь: что подумают, если во время пожара я окажусь здесь?

— Не знаю.

— Не пройдет и двух суток, и все откроется. Если же вы будете с нею вдвоем, и если ты сделаешь все в точности так, как я говорю, не у кого не возникнет никаких вопросов.

— Мне придется ударить Мики?

— Мики будет пьяна. Кроме того, ты дашь ей лишнюю таблетку снотворного. А так как Мики потом станет тобою, и, конечно, будет сделано вскрытие, то постарайся сейчас, чтобы все кругом знали, что ты тоже принимаешь снотворное. А главное, в этот день, если вы будете на людях, ешь и пей все, что будет есть и пить она.

— И я должна буду обжечься?

...Было ли это? Прижала ли в эту минуту Жанна мою голову к своей щеке, пыталась ли меня ободрить? Когда она рассказывала мне об этой сцене, она уверяла, что оно так и было. Она говорила, что именно с этой минуты привязалась ко мне.

— Это и есть единственная проблема для нас. Если ты не станешь совсем неузнаваемой, обеим нам крышка, другого выхода нет, иначе я опознаю в тебе до.

— Я никогда не выдержу...

— Выдержишь. Клянусь тебе, если ты сделаешь то, что я говорю, это продлится не больше пяти секунд. А когда ты очнешься, я буду возле тебя.

— Что именно во мне должно стать неузнаваемой? Откуда я знаю, что тоже не погибну?

— Руки и лицо, — ответила Жанна. — Всего пять секунд с того момента, как ты почувствуешь ожог, а затем ты будешь вне опасности.

Я выдержала. Жанна провела с нами две недели. Накануне первого июля она объявила, что должна ехать в Ниццу, якобы по делам. Я выдержала все те три дня, что провела наедине с Мики. Была с ней такая, как всегда. Выдержала все до конца.

Вечером четвертого июля машину Мики видели в Бандоле. Видели, как Мики и ее подруга До напиваются в компании случайных знакомых. В час ночи маленькая беленькая машина с Доменикой за рулем мчалась по направлению к мысу Кадэ.

И еще через час на вилле начался пожар, в той части, где находился гараж и ванная при спальне Доменики. Двадцатилетняя молодая девушка сгорела заживо в соседней спальне. На ней была пижама и на правой руке — кольцо, давшее возможность опознать в ней меня. Другой девушке не удалось вытащить ее из огня. Но создалось впечатление, что она пыталась ее спасти. В нижнем этаже, куда перебросился огонь, марионетка довела до конца свою роль: зажгла скомканную ночную сорочку Мики и, схватив ее голыми руками, с воплем накрыла голову горящей рубашкой. Через пять секунд все действительно было кончено. Не будучи в состоянии добраться до бассейна, где тогда уже не играли в шары и где была вода, по которой время от времени расплывались круги от падавших в нее головешек, марионетка упала у подножья лестницы.

Я выдержала.

— В котором часу ты первый раз приехала на виллу?

— Было около двадцати двух часов, — отвечала Жанна. — Вы уже давно уехали обедать. Я сменила гайку, открыла газовый кран, но не зажгла газ. Когда ты поднялась на второй этаж, тебе осталось только бросить в ванную кусок зажженной ваты. Ты должна была его бросить после того, как дала Мики снотворное. Полагаю,

ты так и сделала.

— А где ты была?

— Я поехала в Тулон, чтобы меня там видели, зашла в ресторан, сказала, что возвращаюсь из Ниццы и еду на мыс Кадэ. Когда я снова приехала на виллу, она еще не горела. Было два часа ночи. Я поняла, что ты запаздываешь. Мы рассчитывали, что в два часа все будет уже кончено. По-видимому, Мики оттягивала возвращение домой. Не знаю. Ведь по условию тебе должно было вдруг стать плохо. И в час ночи Мики должна была уже привести тебя домой. Произошла какая-то осечка: машину домой вела ты. Может, свидетели ошиблись, не знаю.

— И что ты сделала?

— Я подождала на шоссе. В два часа пятнадцать минут показались первые языки пламени. Я выждала еще. Мне не хотелось первой появляться на месте происшествия. Когда я тебя подобрала на лестнице перед домом, там стояла уже кучка людей — кто в пижаме, кто в халате. Они совсем растерялись. Затем прибыли пожарные из Лека и погасили пожар.

— А было ли нами предусмотрено, что я попытаюсь вытащить ее из спальни?

— Нет. Но мысль сама по себе неплохая. На полицейских инспекторов из Марселя это произвело сильное впечатление. А для тебя это было опасно. Думаю, что из-за этого ты и была черная с головы до ног. Из-за этого в конце концов спальня оказалась для тебя ловушкой — тебе пришлось прыгать в окно. Ночную рубашку ты должна была зажечь в нижнем этаже. Мы раз сто высчитывали, сколько шагов нужно тебе будет пройти, чтобы броситься в бассейн. Семнадцать. Кроме того, ты должна была выждать, пока сбегутся соседи, и только тогда зажечь ночную рубашку, чтобы броситься в бассейн. Когда они появятся. Ты, как видно, не дождалась. А может, в последнюю минуту испугалась, что тебя не успеют быстро вытащить из воды, и поэтому не кинулась в бассейн.

— Я ведь могла сразу же потерять сознание и тут же упасть, едва накрыв голову рубашкой.

— Не знаю. Рана на голове была у тебя очень большая и глубокая. Доктор Шавер думает, что ты спрыгнула со второго этажа.

— Я могла умереть с этой рубашкой на голове, так и не добравшись до бассейна. Знаешь, странный у тебя был план!

— Да нет же! Мы с тобой сожгли на пробу четыре таких рубашки. Это никогда не отнимало больше семи секунд — и при полном отсутствии ветра. Тебе нужно было пройти семнадцать шагов, чтобы очутиться в бассейне. За пять, пусть даже за семь секунд, ты не могла умереть! Эта рана на голове не была предусмотрена. Как и ожоги на теле.

— А разве я могла поступить иначе, не так, как было предусмотрено? Почему бы я вдруг тебя послушалась?

— Я излагаю события, как я их понимаю, — сказала Жанна. — Может быть ты меня не слушалась беспрекословно. Все было гораздо сложнее. У тебя был страх перед тем, что тебе предстояло сделать, страх перед последствиями, страх передо мной. Я думаю, ты в последний момент захотела что-то сделать по-своему. Ее нашли у дверей спальни, а она должна была оказаться либо на своей кровати, либо тут же у кровати. Я допускаю даже, что в какую-то минуту тебе и в самом деле захотелось ее спасти. Не знаю.

В этом месяце — а наступил уже октябрь — мне десять, а то и пятнадцать ночей кряду снился все тот же сон: я изо всех сил тороплюсь куда-то, пытаюсь вынести некую девушку с длинными волосами из огня, вытащить ее, тонушую, из воды, спасти ее от огромной, никем не управляемой машины, которая вот-вот ее раздавит.. Но тщетно. Я просыпалась в холодном поту, ясно сознавая свою безмерную трусость. У меня достало подлости и трусости, чтобы дать несчастной девушке веронал, а потом сжечь ее заживо; но моя безмерная трусость мешает мне перестать себе лгать, что я пыталась ее спасти. Моя амнезия — бегство от правды. Если ко мне не возвращается память, то потому, что я, бедная крошка, ни за что на свете не соглашаюсь нести бремя воспоминаний.

Мы пробыли в Париже до конца октября. Двадцать, если не тридцать раз смотрела я кинофильм, в котором снята Мики во время каникул. Я изучила ее движения, походку, манеру внезапно бросать взгляд в мою сторону — в объектив.

— Она была так же порывиста и в разговоре, — сказала Жанна. — Ты говоришь слишком медленно. Она постоянно начинала новую фразу, не договорив предыдущую, перескакивала с одной мысли на другую, как будто слова для нее — пустой звук, как будто ты уже все поняла.

— Надо думать, она была умнее меня.

— Я этого не сказала. Попробуй еще раз.

Я попробовала. Выходило похоже. Жанна давала мне сигарету, подносила огонь, пристально в меня вглядывалась.

— Куришь ты, как она. Вот только куришь ты по-настоящему. Мики делала одну-две затяжки и бросала сигарету. Запомни хорошенько: к чему она ни притронется, она тут же бросает... Больше нескольких секунд она на одной мысли не останавливалась, платья меняла три раза в день, мальчиком увлекалась не больше недели. Сегодня ей нравился сок грейпфрута, а завтра

— водка. Вот так, две затяжки — и гаси. Это нетрудно. Затем можешь тотчас же закуривать другую сигарету. Получится очень хорошо.

— И накладно, верно?

— Постой, это уже сказала ты, а не она. Никогда так не говори.

Жанна посадила меня за руль своего «Фиата». Поупражнявшись немного, я оказалась в состоянии водить автомобиль без особого риска.

— Что стало с машиной Мики?

— Сгорела дотла. Ее обугленный остов нашли в гараже. С ума сойти, ты вертишь баранку точь-в-точь как она! Не так уж ты была глупа — умела, значит, наблюдать. Правда, никакой другой машины, кроме машины Мики, ты не водила. Если будешь умницей, когда будем на юге, я куплю тебе автомобиль на «твои» деньги.

Она одевала меня, как Мики, подкрашивала меня в точности так же, как красилась Мики. Я носила грубо-шерстяные широкие юбки, белое, бледно-зеленое, бледно-голубое белье, лодочки фирмы Рафферми.

— Как тебе жилось, когда ты работала каблучным мастером?

— Паршиво. Повернись! Дай-ка я погляжу на тебя.

— Когда я поворачиваюсь, у меня болит голова.

— Ноги у тебя красивые. У нее были тоже хороши, впрочем, я уже не помню. Голову она держала выше. Вот так, смотри. Ну-ка, походи!

Я ходила, садилась. Вставала. Делала несколько па вальса. Выдвигала ящик стола. Разговаривая, поднимала указательный палец. Смеялась звонким, высоким смехом. Останавливалась, очень прямая, выставив ногу вперед, так что одна ступня была перпендикулярна другой. Говорила: «Мюрно, вот умора, я сойду с ума, честное слово, какая же я бедная, то люблю, то не люблю, то одно, то другое, пропасть всякой всячины, ты ведь знаешь». Глядя исподлобья, я с сомнением качала головой.

— Недурно. Когда сидишь в такой юбке, показывай ноги не больше, чем необходимо. Убирай их, держа всегда сдвинутыми и параллельно. Вот так. Иногда я уже не могу вспомнить, как она это делала.

— Знаю: лучше, чем я.

— Этого я не говорила.

— Но думаешь. Ты злишься. Я стараюсь, как могу. Знаешь от всей этой штуковины у меня голова идет кругом.

— Вот-вот, я как будто слышу ее. Продолжай.

Жалкий реванш Мики: возобладав над прежней Доменикой, она жила во мне, Это она моими отяжелевшими ногами, моим истощенным мозгом.

Однажды Жанна повела меня к друзьям Мишели Изоля. Она не отходила от меня, рассказывала, как я несчастна, и все сошло гладко.

На другой день она позволила мне отвечать на телефонные звонки. Какие-то люди выражали мне сочувствие, уверяли, что безумно волнуются, умоляли принять хоть на пять минут. Жанна брала второй наушник и потом объясняла, кто со мной говорил.

Однако в то утро, когда позвонил любовник До — Габриель, Жанны не было дома. Он сказал, что знает о моем несчастье, и объяснил, кто он такой.

— Я хочу вас видеть, — добавил он.

Я не знала, каким голосом ему отвечать, от страха сказать что-нибудь невпопад я совсем онемела.

— Вы меня слышите? — спросил он.

— Я не могу вас сейчас принять. Я должна подумать. Вы не представляете, в каком я состоянии.

— Послушайте, мне нужно вас видеть. Уже три месяца я не могу к вам попасть, и теперь-то вам от меня не уйти. Мне необходимо кое-что узнать. Я иду к вам.

— Я вас не впущу.

— Тогда берегитесь! — сказал он. — У меня есть одно прескверное свойство: я упрям. На ваши несчастья мне наплевать. С До случилось большее несчастье, она погибла. Так мне приходится или нет?

— Умоляю вас! Вы не понимаете. Я не хочу никого видеть. Дайте мне время опомниться. Обещаю, что приму вас немного погодя.

— Я выхожу! — сказал он.

Жанна пришла раньше Габриеля и приняла его. Я слышала их голоса в передней на нижнем этаже. Я лежала на кровати, прижав стиснутый кулак в белой перчатке ко рту. Через несколько минут входная дверь захлопнулась, вошла Жанна и обняла меня.

— Он не опасен. Думает, наверное, что был бы подлецом, если бы не пришел расспросить тебя, как погибла его подруга, но он этим и ограничится. Успокойся.

— Я не хочу его видеть.

— И не увидишь. С этим покончено навсегда. Он ушел.

Меня приглашали. Я встречалась с людьми, которые не знали, как со мной обращаться, и ограничивались тем, что, расспросив Жанну, желали мне бодрости.

Однажды в ненастный вечер Жанна устроила даже маленький прием на улице Курсель. Состоялся он за два-три дня до нашего отъезда в Ниццу и был для меня своего рода экзаменом, генеральной репетицией перед моим вступлением в новую жизнь.

Жанны поблизости не оказалось, когда я увидела, что в одну из зал на нижнем этаже, где я находилась, входит никем не приглашенный Франсуа Руссен. Жанна тоже заметила его и, переходя от одной группы к другой, спокойно направилась ко мне.

Франсуа объяснил мне, что явился не как назойливый любовник, а в качестве секретаря, сопровождающего своего патрона. Тем не менее он, видимо, был очень не прочь напомнить о себе и как о любовнике.

Взяв Жанну под руку, я велела Франсуа уйти.

— Мне необходимо с тобой поговорить, Мики, — настаивал он.

— Мы уже поговорили.

— Я не все тебе сказал.

— Ты мне достаточно нарасказывал.

Я увела Жанну подальше от него. Он тотчас же ушел. Когда он надевал в прихожей пальто, его взгляд скрестился с моим взглядом. Глаза его не выразили ничего, кроме ярости, и я отвернулась.

К ночи гости разошлись. Жанна долго обнимала меня, сказала, что я оправдала ее надежды и что нам все удастся, уже удалось.

НИЦЦА

Отец Мики, Жорж Изоля, был очень худ, очень бледен и стар. Голова у него тряслась, он смотрел на меня глазами, полными слез, не решаясь поцеловать. А когда он все-таки меня поцеловал, я разрыдалась. В это мгновение я пережила нечто совершенно нелепое: я не чувствовала себя ни испуганной, ни несчастной; напротив, я ошалела от счастья, от того, что он так счастлив. Кажется, я на несколько минут забыла, что я не Мики.

Я обещала отцу снова его навестить, уверяла, что выздоровела. Я оставила ему разные подарки и сигареты, но при этом у меня было ощущение, что я делаю гнусность. Жанна увела меня. В машине она дала мне выплакаться, затем, извинившись, сказала, что должна воспользоваться моим состоянием: она условилась о встрече с доктором Шавером. Жанна сразу же повезла меня к нему, так как считала, что со всех точек зрения лучше, чтобы он видел меня именно в этом состоянии.

Шавер действительно пришел к выводу, что свидание с отцом было для меня сильной встряской и может задержать мое выздоровление. Он нашел у меня крайнее физическое и нервное истощение и велел Жанне ограждать меня еще некоторое время от общения с людьми. Этого она и хотела.

Доктор Шавер оказался именно таким, каким я его помнила: грузным, с бритой головой и толстыми руками мясника между тем я видела его только раз между двумя вспышками белого света, до и после моей операции. Он сообщил мне, что его зять, доктор Дулен, беспокоится за меня, и показал мою историю болезни, которую тот ему переслал.

— Почему вы перестали к нему ходить?

— От этих сеансов, — вмешалась Жанна, — она приходила в ужасное состояние. Я позвонила ему, и он сам счел за лучшее их прекратить.

Шавер был старше, а может быть, и решительнее Дулена и сказал Жанне, что обращается не к ней и будет ей признателен, если она оставит нас наедине. Жанна наотрез отказалась.

— Я хочу знать, что с ней делают. Я вам доверяю, но не оставлю ее наедине ни с кем. И она, и вы можете говорить в моем присутствии.

— Что вы в этом смыслите? — сказал Шавер. — Из истории болезни видно, что вы действительно присутствовали при всех ее беседах с доктором Дуленом. Он и не достиг никаких результатов после ее выхода из клиники. Хотите вы ее вылечить или нет?

— Я хочу, чтобы Жанна осталась, — сказала я. — Если она уйдет, я тоже уйду. Доктор Дулен обещал, что память вернется ко мне очень скоро. Я выполняла все его указания. Играла кубиками и стальными проволочками. Часами рассказывала ему о своих переживаниях. Он сделал мне несколько уколов. Если он ошибся, то не по вине Жанны.

— Да, он ошибся, — со вздохом сказал Шавер, — но я начинаю понимать, чем это обусловлено.

Я видела в моей истории болезни страницы, исписанные мною во время сеансов «автоматического письма»

— Разве он ошибся? — удивилась Жанна.

— О, пожалуйста, не воображайте, что вы понимаете, в каком смысле я употребил это слово. У той девушки нет никакого органического порока. Но предел ее памяти, как у впавшего в детство старика, первые пять-шесть лет ее жизни. А сохранились и более поздние навыки. Любой специалист по заболеваниям памяти и речи принял бы это за частичную амнезию. Она перенесла шок, волнения... В ее годы это может продолжаться три недели, иногда три месяца. Если доктор Дулен ошибся, то он вполне сознавал, что ошибается, иначе я об этом ничего бы не узнал. Я хирург, а не психиатр. Вы читали, что она тут писала?

— Читала.

— А что особенного в словах: РУКИ, ВОЛОСЫ, ГЛАЗА, НОС, ГУБЫ? Обычные, часто употребляемые слова.

— Не знаю.

— Представьте себе, я тоже. Я знаю только, что эта девушка была больна еще до несчастного случая. Не была ли она легко возбудима, вспыльчива, эгоцентрична? Свойственно ли ей жалеть себя? Случалось ли ей плакать во сне? Мучили ли ее кошмары? Бывали ли у нее при вас внезапные приступы ярости, как в тот день, когда рукой в лубке она замахнулась на моего зятя?

— Не понимаю. Мики очень чувствительна, ей двадцать лет, она, может быть, от природы несколько вспыльчива, но больна она не была. Она даже отличалась вполне здоровым умом.

— Бог мой! Я никогда и не говорил, что она не была в здравом уме! поймите меня правильно: у нашей девочки еще до пожара были некоторые явления, напоминающие истерию, а людей с такими явлениями куда больше, чем, например, курильщиков трубки или коллекционеров марок. И если я утверждаю, что она была больна, то это, прежде всего, моя субъективная оценка той стадии, за которой начинается болезнь. К тому же, некоторые виды потери памяти или речи — обычные признаки истерии.

Он встал, и обойдя вокруг стола, подошел ко мне; я сидела на кожаном диване возле Жанны. Взяв меня за подбородок, он осторожно повернул мою голову к Жанне.

— Ну, разве она похожа на старушку, впавшую в детство? Ее амнезия имеет не частичный, а избирательный характер. Скажу проще, чтобы вам стало понятно: она забыла не какой-то определенный период своей жизни — пусть даже самый большой период, но связанный с определенным отрезком времени, — нет, она ОТКАЗЫВАЕТСЯ вспомнить что-то или кого-то. Знаете, почему доктор Дулен пришел к такому выводу? Потому что даже в событиях, относящихся к четырех-пятилетнему возрасту, у нее есть провалы в памяти, дыры. Что-то или кто-то, вероятно, так непосредственно или опосредованно связан с ее самыми ранними воспоминаниями, что она вычеркнула их одно за другим из своей памяти. Вам понятно, что я хочу сказать? Случалось вам бросать камни в воду? Круги, которые при этом расходятся, немножко похожи на то, о чем я говорю. — Он опустил мой подбородок и показал, описывая рукой в воздухе круги, как они расходятся в воде. — Возьмите мои рентгеновские снимки и отчет об операции, — продолжал он, — и вы увидите, что я ее только заштопал — в этом и заключается моя роль. Я наложил сто четырнадцать швов. Поверьте, в ту ночь у меня была твердая рука, и я знаю свое дело, поэтому убежден, что я не «задел» мозга. Дело здесь не в травме, даже не в реакции на физический шок, об этом ее сердце сказала бы нам явственнее, чем голова. У нее характерная психическая реакция, такая бывает у человека, который болел уже раньше.

Я не выдержала, вскочила и попросила Жанну меня увести. Шавер схватил меня за руку.

— Я нарочно тебя пугаю, — сказал он, повысив голос. — Ты, может быть, выздоровеешь и сама, а может, и нет. Но если я в состоянии дать совет, полезный, добрый совет, то вот какой: навещай меня почаще. А еще

усвой следующее: пожар произошел не по твоей вине, и девушка погибла не из-за тебя. Хочешь ли ты или не хочешь о ней вспоминать — это ничего не изменит: она существовала. Она была красива, она была твоей сверстницей, и звали ее Доменика Лои. Но она действительно умерла — и перед этим ты бессильна.

Он удержал меня за руку, прежде чем я успела его ударить. Затем сказал Жанне, что рассчитывает на ее содействие и желал бы встретиться со мной снова.

Мы провели в Ницце три дня, в гостинице на взморье. Октябрь подходил к концу, но на пляже еще были купальщики. Я наблюдала за ними из окна нашего номера и убеждалась, что узнаю этот город, узнаю запах морской соли и водорослей, который доносил до меня ветер.

Ни за что на свете Жанна не повела бы меня снова к доктору Шаверу. Она говорила, что он кретин и грубиян. От того что он вечно зашивает головы, мозги у него превратились в подушку для иголок. У него самого голова дырявая.

И все же мне хотелось его увидеть. Конечно, он был груб, но я жалела, что прервала его. Он не все мне рассказал.

— Надо же такое выдумать! Ты, значит, хочешь забыть саму себя! — потешалась Жанна. — Выходит так!

— Если бы он знал, кто я, он поставил бы все с головы на ноги. Не прикидывайся дурочкой. Я хотела бы забыть Мики, вот и все.

— Вот то-то и дело, что, если бы он поставил все с головы на ноги, от его блестящего рассуждения через секунду ничего бы не осталось. Не знаю, что он подразумевает под истерией, хотя кое-как могу допустить, что Мики нуждалась в лечении. Но ты-то была совершенно нормальна. Тебя я никогда не видела в возбужденном состоянии, и ты не была такая шкура, как она.

— И все же именно я хотела ударить доктора Дулена, именно я ударила тебя. Ведь это так!

— На твоём месте и в твоём состоянии, думаю, каждый бы так поступил. Я бы схватила штангу. А ты стерпела, когда эта сумасшедшая задала тебе такую таску, что ты целую неделю ходила в синяках, и ты даже не посмела дать сдачи, хотя в Мики весу было ни на грамм больше, чем в тебе. А ведь это была ты, а не она!

На третий день она объявила мне, что мы возвращаемся на мыс Кадэ. Приближался день вскрытия завешания. Жанне надо было при этом присутствовать, и, следовательно, я на несколько дней останусь одна с прислугой. По мнению Жанны, я еще не в силах буду выступить в новой роли во Флоренции. На мысе Кадэ через две недели после пожара начался ремонт, и теперь нежилой была только спальня Доменики. На вилле я буду вдали от людей и, конечно, в этой обстановке скорее выздоровлю.

По этому поводу впервые с того дня, когда я сбежала от нее на одной из улиц Парижа, между нами произошла ссора. Мысль о возвращении на виллу, где еще свежи следы пожара, да и сама мысль о том, что я буду выздоравливать в этой обстановке, приводила меня в ужас. Но, как всегда, я уступила.

К концу дня Жанна отлучилась куда-то, оставив меня одну на час на террасе отеля. Вернулась она не в своей белой машине, а в светло-голубом кабриолете «Фиат-1500» и сказала, что он мой. Она дала мне документы и ключи от машины, и я покатила Жанну по Ницце.

На другое утро мы двинулись в путь — Жанна впереди, на своей машине, я — за ней, на «Фиат-1500», и во второй половине дня мы прибыли на мыс Кадэ. Так нас уже ждала мадам Иветта, энергично подметая штукатурку и мусор, оставленный каменщиками. Она не решилась признаться, что не узнала меня, расплакалась и убежала на кухню, говоря со своим южным акцентом: «несчастный мир, несчастный наш мир!»

Дом был невысокий, с почти плоской крышей. Наружную покраску еще не закончили, и на стенах, в той части виллы, которую пощадил огонь, остались широкие полосы копоти. Гараж и столовая, где вечером мадам Иветта подавала нам обед, уже были отремонтированы.

— Не знаю, может статься, барабулька вам разонравилась, — сказала она, — но я думаю, что доставлю вам удовольствие. Ну как, довольны вы, что снова здесь, в наших прекрасных краях?

— Оставь ее в покое, — резко оборвала ее Жанна.

Я попробовала рыбу и объявила, что она очень вкусная. Мадам Иветта несколько воспрянула духом.

— Знаешь, Мюрно, тебе пора было бы знать что к чему, — сказала она Жанне. — Не съем же я твою девочку.

Подавая фрукты она наклонилась и чмокнула меня в щеку.

— Разве только Мюрно болела за вас? — сказала она. — Все эти три месяца не было дня, чтобы в Леке меня кто-нибудь не спросил о вашем здоровье. А есть тут один парнишка, так он даже заходил сюда вчера днем, когда я убирала в верхних комнатах. Вы, наверное, были к нему не очень-то жестоки.

— Кто, кто заходил?

— Один парнишка, молоденький, примерно ваших лет. Ему года двадцать два, двадцать три. Имейте в виду, вам не за что краснеть. Он хорош, как божий день, и такой же душистый, как вы. А известно мне это потому, что я его целовала. Ведь я знала его, еще когда он под стол пешком ходил.

— И Мики была с ним знакома? — спросила Жанна.

— О, надо думать!.. Он не перестает у меня выпрашивать, когда вы приедете и где вы сейчас.

Жанна сердито на нее посмотрела.

— Да придет он, придет, никуда не денется, — заверила нас Иветта. — Ему недалеко, он работает на почте в Ля-Сьота.

В час ночи, лежа в комнате, которую в начале лета занимала Мики, я долго не могла заснуть. Мадам Иветта вернулась к себе в Лек. Близилась полночь, когда я слышала шаги Жанны в моей бывшей комнате и в заново отделанной ванной. Хотя там побывали и следователи и каменщики, Жанна, должно быть проверяла, не осталось ли каких улик против нас.

Затем она прошла в третью комнату в конце коридора и легла. Встав с постели, я пошла к ней. Я застала ее за чтением книги «дефекты памяти» некоего Делея.

— Не ходи босиком, — сказала она. — Садись или надень мои туфли. Впрочем где-то в моих чемоданах должны быть домашние туфли.

Забрав у Жанны книгу, я положила ее на столик и села на постель.

— Кто этот парень, Жанна?

— Понятия не имею.

— Что, собственно, я говорила по телефону?

— Ничего такого, из-за чего можно не спать по ночам. Он был бы для нас опасен, только если бы знал содержание и телеграммы, и наших телефонных разговоров. Это маловероятно.

— Почта в Ля-Сьота большая?

— Не знаю. Надо будет нам завтра туда заехать. А теперь иди спать. Между прочим, еще не доказано, что телефонная связь проходит именно через Ля-Сьота.

— Здесь есть телефон. Я видела внизу аппарат. Можно было бы сразу выяснить.

— Не дури.

Помолчав, она вдруг сказала:

— В ванной, среди обгоревших вещей, я нашла гаечный ключ. На дне стиральной машины. Это не мой. Ключ, которым я в ту ночь пользовалась, я выбросила. Может, ты купила себе ключ, чтобы каждый день отвинчивать гайку?

— Я бы тебе об этом сказала и постаралась бы от него избавиться.

— Не знаю, я над этим не задумывалась. Мне казалось, что ты брала ключ в инструментальной сумке автомобиля. Так или иначе, следователи не заметили этого ключа, а если и видели его, то не обратили внимания. Иди спать.

Я продолжала заниматься тем, что Жанна называла моей тренировкой. По впечатлению, которое я производила на Иветту, я могла убедиться в своих успехах. Несколько раз в день она повторяла: «Ах, вы совсем не переменились!»

Парень, о котором нам сообщила мадам Иветта, не показывался. Почтовое отделение в Ля-Сьота было, на наш взгляд, довольно большим, и это исключало предположение, что нас могли подслушивать, но телефонная связь с мысом Кадэ действительно проходила через Ля-Сьота.

За четыре дня до вскрытия завещания Жанна поставила свой чемодан в багажник и уехала на своем «Фиате». Накануне вечером мы ездили обедать в Марсель на моей машине.

Она обещала, что пробудет во Флоренции ровно столько, сколько понадобится для выполнения некоторых формальностей в связи с завещанием. За неделю до своей смерти Рафферми приложила к нему в конверте распоряжение, в силу которого вскрытие завещания назначалось на день совершеннолетия Мики — на тот случай, ежели смерть завещательницы наступит раньше. Было ли это ребячеством старухи, желавшей досадить Мики (предположение Жанны), либо она, чувствуя приближение конца, хотела, чтобы у ее поверенных осталось достаточно времени для приведения в порядок отчетности (предположение Франсуа шанса), не знаю. По-моему это ничего не меняло. А по мнению Жанны, приписка к завещанию могла создать гораздо большие осложнения, чем просто замена старого завещания новым; как бы то ни было, многочисленная родня Рафферми не преминет воспользоваться этим или другим нарушением проформы и будет чинить нам препятствия.

После нашего свидания с отцом Мики мы с Жанной условились, что она захватит его с собой, проезжая через

Ниццу. Когда Жанна прощалась со мной перед отъездом во Флоренцию, присутствие Иветты помешало ей дать мне какие-нибудь указания, кроме обычного: «Ложись и будь паинькой».

Иветта устроилась в комнате Жанны. В тот первый вечер мне не спалось. Я сошла вниз на кухню, выпить воды. Затем, увидев, что ночь теплая, я накинула поверх своей ночной рубашки Жаннину жакетку и вышла. В темноте обогнула я дом. Заложив руки в карманы жакетки, я нащупала пачку сигарет. Я прислонилась к стене гаража, вынула сигарету и поднесла ее ко рту.

Кто-то рядом протянул мне зажженную спичку.

6

Этот юноша предстал перед нею в лучах июньского солнца в ту минуту, когда Мики, лежавшая у подножья высокого мыса на маленьком пляже, усыпанном галькой, закрыла иллюстрированный журнал, который она просматривала. Сначала этот парень, одетый в белую рубашку и выцветшие холщовые штаны, показался ей огромным — он стоял как раз над ней. Но потом она убедилась, что он среднего, пожалуй, даже маленького роста. Это не мешало ему быть очень красивым: большие черные глаза, прямой нос, очертание девичьих губ и своеобразная манера держаться очень прямо, заложив руки в карманы брюк, приподняв плечи.

Уже две-три недели Мики и До жили на мысе Кадэ. В тот день Мики была одна. После полудня До уехала на машине, собираясь купить себе что-то в Ля-Сьота — не то брюки, не то розовые серьги, которые Мики видела тоже и нашла премерзкими. Во всяком случае, она это потом рассказывала своему новому знакомцу.

Он подкрался бесшумно, даже галька не зашуршала под ногами. Он был худощав и по-кошачьи увертлив и чуток.

Мики опустила на глаза защитные очки, чтобы солнце не мешало его разглядеть, и приподнялась, придерживая рукой расстегнутый лифчик от купального костюма.

— Вы Мики? — спросил он ровным голосом.

Не дожидаясь ответа он необыкновенно гибким и естественным движением, словно это было ему не впервой, сел рядом так, что оказался вполоборота к ней. Мики сказала ему для проформы, что здесь частный пляж и что она была бы весьма признательна, если бы он отсюда убрался.

Заметив, что ей трудно застегнуть на спине лифчик, парень быстро наклонился и, прежде чем она успела опомниться, застегнул пуговку.

Затем он объявил, что идет купаться. Сбросив рубашку, брюки, босоножки и оставшись в скверных армейских трусах цвета хаки, он вошел в воду.

Плавал он, как и ходил, — молчаливо, бесшумно. Выйдя на берег, он подсел к Мики, не убирая со лба пряди темных мокрых волос, достал из кармана брюк сигареты и предложил ей помятую «голуазу», из которой почти совсем высыпался табак.

— Знаете, зачем я пришел?

Мики ответила, что догадаться нетрудно.

— Будь это так, я бы сам удивился, — сказал он. — Девушек у меня вдоволь. Я на стреме уже целую неделю, но, поверьте, не для этого. Да и присматриваюсь я к вашей подруге, а не к вам. Она ничего, недурна, но интересуется меня другое, этого не увидишь. Оно вон где.

Он показал пальцем на лоб, повалился на спину и, подложив руки под голову, растянулся на солнце с сигаретой в зубах. Выдержав минутную паузу, он повернулся лицом к Мики, вынул изо рта свою «голуазу» и заявил:

— Черт подери, вы не любопытны!

— Чего же вам надо?

— Ага, хоть поздно, но дошло! Чего я по-вашему, хочу? Десять косых? Пятьсот косых? Сколько стоит ваше бьющееся сердечко? Некоторые звезды застрахованы: у кого руки, у кого ноги, и все такое прочее. Ну, а вы застрахованы?

Мики вздохнула с облегчением. Сняв очки, чтобы под глазами не остались белые круги, она ответила, что ее уже пробовали ловить на такие трюки и что он может, в прямом смысле этого слова, собрать свои манатки.

— Не путайте, — сказал он. — Я не агент страховой компании.

— Это-то мне ясно.

— Я — добряк. Но у меня есть глаза и уши, и я хочу дать вам возможность воспользоваться кое-каким сообщением. Притом зарабатываю я мало. За сотню косых вы получите изюмину.

— Если бы я, с тех пор как меня перестали водить за ручку, всякий раз попадалась на такие трюки и давала деньги, я бы разорилась. Ну как, соберете вы ваши манатки?

Он привстал, решив, кажется, перестать паясничать, и очень ловко, не вихляясь, только чуть приподняв ноги, сразу натянул брюки. Наблюдавшая за ним Мики оценила это изящество, о чем впоследствии ему и сказала. Но в ту минуту она только наблюдала за ним из-под полуопущенных век.

— Начать с того, что Жанна ведь чокнутая! — проговорил он, сидя совершенно неподвижно и уставившись на море. — Знаешь, под каким знаком она родилась? Под знаком тельца. Бойся тельца, цыпленок, оттого она такая и стала: шкура шкурой. Все от головы, а в сердце пусто.

Мики снова надела очки. Он взглянул на нее, усмехнулся, надел рубашку, босоножки и встал. Она ухватила его за брюки.

— Откуда вы это узнали?

— Сто косых!

— Вы слышали, как я это говорила. Это было в ресторане, в Бандоле. Вы подслушивали наш разговор?

— В Бандоле я не был с прошлого лета. Я работаю в Ля-Сьота. На поле. С работы ухожу в шестнадцать тридцать. А слышал я это сегодня, час назад. Я уже собирался домой. Ну как, решаетесь? Да или нет?

Мики встала на колени и, вероятно, чтобы выиграть время, попросила еще сигарету. Раскурив сигарету, он протянул ее Мики.

— Вы слышали это на почте? Это был телефонный разговор?

— С Флоренцией, — сказал он. — Я ведь добряк. Право слово, сто косых

— это даром! Просто мне, как и всем, нужны деньги. Для вас это пустяк.

— Вы — болван, убирайтесь!

— Это она звонила, — сказал он, — ваша подруга. Та, другая, разговаривает так: «Поразмысли. Хватит.

Повесь трубку».

Тут Мики услышала, что к вилле подъезжает ее машина: это возвращалась До. Опустив на глаза свои черные очки, Мики взглянула вверх на парня и сказала, что согласна дать ему денег, если его сообщение того стоит.

— Сообщением получите, когда увижу сто косых, — сказал он. — Сегодня в полночь будьте у табачной лавочки в Лекен. Там во дворе, на открытом воздухе, показывают кино. Я буду там.

Ничего больше не сказав, он ушел. Мики решила дожидаться До. Когда же До, беспечная и веселая, в купальном костюме, с полотенцем через плечо, подошла к ней, Мики сказала себе, что не пойдет в эту табачную лавочку ни сегодня в полночь, ни вообще никогда. Было уже поздно, и солнце садилось.

— Что ты там делала?

— Ничего, — ответила До. — Валандалась. Вода теплая?

В ушах у До висели розовые сережки. Входя в воду, она, по своему обыкновению, сначала аккуратно поливала все тело из ладошки, затем с победным индейским кличем окунулась.

По дороге в Бандоль, куда они поехали обедать, Мики бросила взгляд из машины на табачную лавку в Леке и заметила во дворе за ней свет, а на стене — афиши кино.

— Нынче днем я встретила занятого парня, — сказала она. — И у этого занятого парня мысли тоже занятные.

И когда До ничего на это не ответила, Мики добавила, что в конце концов станет находить удовольствие от жизни здесь.

В тот вечер она отвезла До на виллу без двадцати двенадцать, сказала, что забыла заехать в аптеку, но в Ля-Сьота, вероятно, аптека еще открыта. Мики снова включила фары и умчалась.

Без десяти двенадцать, поставив машину в переулке за углом табачной лавочки, служившей одновременно и баром, она вошла во двор, через который был протянут брезентовый занавес, и, не заметив среди публики своего вымогателя, уселась на складной стул и посмотрела последние кадры приключенческого фильма.

Он ждал ее у выхода, перед стойкой бара, накиннув на плечи свой синий джемпер, рукава которого он завязал узлом на шее, и делая вид, будто смотрит телевизионную передачу.

— Сядем, — сказал он, взяв со стойки свой стакан.

На пустой террасе, на стеклах которой то и дело вспыхивали блесками огни проезжавших машин, Мики вынула из кармана вязаной спортивной куртки две бумажки по десять тысяч и одну в пять тысяч франков.

— Если то, что вы можете мне сказать, так уж интересно, вы получите и остальное.

— Я добряк. Я привык верить людям. Притом мне известно, что вы сейчас ждете новой посылки.

Он взял бумажки, тщательно сложил их и спрятал в карман. Затем рассказал, что несколько дней назад принял телеграмму из Флоренции. Рассыльный уже ушел на все утро, и поэтому он взялся сам доставить ее адресату.

— В «Кафе Дезирады» в Ля-Сьота.

— Какое же это имеет отношение ко мне? — спросила Мики.

— Телеграмма была адресована вам.

— Я не получаю свою корреспонденцию в кафе.

— А вот ваша подруга получает. Телеграмму забрала она. А немного погодя зашла на почту — оттуда я это и знаю. Признаться, я было уже забыл о телеграмме. Девушку я приметил потому, что она заказала разговор с Флоренцией. Телефонистка — моя приятельница. Так что я все слышал и понял: телеграмма в кафе предназначалась той девушке.

— Кто отвечал из Флоренции?

— Не знаю. Телеграмма была без подписи. По телефону отвечала женщина. Она, как видно, знает, чего хочет. Если я верно понял, это вы к ней обращаетесь, когда вам нужны деньги. Сообщаете, кто это?

Немного побледнев, Мики кивнула головой.

— А что было в телеграмме?

— Вот в этом-то вся и загвоздка, — сказал, покривившись, парень. — По-моему, вас хотят облапошить, суть как будто в монете, а может, и в чем другом, но если тут что посерьезнее, то я хочу застраховаться. Допустим, я дал промашку, тогда вы должны будете обратиться к легавым, так? А я куда денусь? В каталажку? Мне, знаете ли, неохота, чтобы мою добрую услугу сочли за шантаж.

— О полиции не может быть и речи.

— И я так думаю. Много шуму! И все же я хочу застраховаться, только и всего.

— Обещаю не упоминать вас, что бы ни случилось. Вас это устраивает?

— Черта с два, — сказал парень. — Я в ваших фиглях-миглях не разбираюсь, и мне на них начхать. На ваши обещания тоже. А вот расписка в получении телеграммы может меня застраховать, и ничего больше.

Распишитесь в книге, тогда по рукам.

Он объяснил, что для телеграмм существует разносная книга. Чаще всего почтальон не требует расписки от получателя, он отмечает в книге только дату, время доставки и ставит в графе крестик.

— Поставьте вашу подпись над крестиком, как будто вы сами получили телеграмму в «Кафе Дезирады». И тогда, если с вашей стороны будет какой-нибудь подвох, я всегда могу защититься.

Мики ответила, что он заливает, что ей надоела вся эта болтовня. Он может считать себя счастливым: заработал двадцать пять тысяч франков одной трепотней. А ей хочется спать. За выпитое пусть платит сам.

Она встала и ушла с террасы. Он догнал ее у машины, в переулке, где фонари были уже погашены. Сказав «нате!», он вернул ей деньги, быстро поцеловал ее в губы, открыл дверцу машины, взял с сиденья неизвестно как туда попавшую толстую тетрадь, одним духом выпалил: «Кларисса прокладка. Целую», — и скрылся.

У выезда из Лека она снова его увидела. Он спокойно сидел на бугорке у дороги, дожидаясь попутной машины, которая бы его подвезла. Мики сказала себе, что он все-таки слишком жуликоват. Но она остановила поодаль свой кабриолет и подождала, пока он сядет. Он не мог скрыть свое удовлетворение.

Мики спросила:

— У вас есть и чем писать?

Он протянул ей карандаш и открыл черную тетрадь.

— Где подписать?

— Тут.

Он внимательно разглядывал ее подпись, на которую падал свет от приборной доски, и так близко наклонился к Мики, что она почувствовала запах его волос и спросила, чем это он душится.

— Есть такой мужской одеколон. Продается только в Алжире. Я отбывал там военную службу.

— Пахнет довольно мерзко. Отодвиньтесь и повторите текст телеграммы.

— «Кларисса прокладка. Целую», — проговорил он. Затем трижды повторил все, что запомнил из первого телефонного разговора. Он сказал, что в тот же день, как раз тогда, когда он решился поговорить с ней на пляже, он подслушал и второй разговор. Целую неделю с пяти часов и до обеда он подстерегал Мики у виллы.

Мики молчала. Он тоже замолчал. Нахмутив брови, она раздумывала некоторое время, затем включила первую скорость и отъехала. Она довезла его до гавани Ля-Сьота. Кафе еще были освещены. В порту среди лодок дремал большой корабль. Не выходя из машины, парень спросил:

- Вас тревожит то, что я вам сообщил?
- Еще не знаю.
- Хотите, чтобы я разобрался что к чему?
- Уходите и забудьте.

Он ответил «о'кей!», выскочил из машины, не закрывая дверцы, наклонился к Мики и протянул руку, держа ее горстью.

- Согласен забыть, — проговорил он, — да только не все.

Она дала ему двадцать пять тысяч франков.

Когда в два часа ночи она поднялась в свою комнату, Доменика спала. Мики прошла из коридора в первую ванную. Слово «Кларисса» ей что-то напоминало. Что именно, она не знала, но связано это было с ванной комнатой. Включив свет, она заметила марку колонки. Взгляд ее скользнул по газовой трубе, проложенной по верху стены.

- Что-нибудь не в порядке? — спросила Доменика, ворочаясь на постели в своей спальне.
- Ищу зубную пасту.

Мики погасила свет, прошла по коридору к себе и легла спать. На другой день, незадолго до полудня, она сказала мадам Иветте, что поедет с До обедать в Касси, извинилась, что забыла об этом предупредить, и дала мадам Иветте на вторую половину дня какое-то поручение вне дома.

Мики остановила свою машину у почты в Ля-Сьота и, обратясь к До, сказала:

- Пошли. Я уже несколько дней собираюсь сделать один трюк. И всякий раз это вылетает из головы.

Войдя на почту, Мики исподтишка следила за лицом подруги. До было явно не по себе. В довершение всего почтовая служащая, как на грех, любезно спросила ее:

- Вам Флоренцию?

Мики притворилась, что не слышит, взяла со стола бланк и составила телеграмму Жанне Мюрно. Накануне, перед сном, она продумала каждое слово:

«прости, несчастна, денег, целую тысячу раз, лобик, глазки, носик, губки, ручки, ножки, будь добренькая, рыдаю, твоя Мики.»

Мики полагала, что если текст покажется Жанне странным и встревожит ее, она откажется от своего замысла. Мики давала Жанне возможность одуматься.

Мики показала телеграмму До. Та прочла и не нашла в телеграмме ничего особенно смешного или странного.

— А я нахожу, что эта телеграмма довольно забавная, — сказала Мики. — Как раз то, что нужно. Будь любезна, передай ее в окошечко. Я жду тебя в машине.

За одним из окошек вчерашний собеседник Мики, все в той же белой рубашке, штемпелевал какие-то листы. Он заметил девушек, как только они проявились на почте, и вышел в след за Мики.

- Что вы будете делать?

— Ничего, — ответила Мики. — Если вы хотите получить остальные деньги, то «делать» будете вы. В пять часов, после работы, бегите на виллу. Прислуги не будет. Поднимитесь на второй этаж, первая дверь направо. Это ванная. А там разбирайтесь сами. Вам понадобится гаечный ключ.

- Что они замышляют?

— Не знаю. Если я правильно поняла, вы тоже поймете. Доложите мне вечером в табачной лавочке в Леке. Часов около десяти, если это вас устраивает.

- А сколько вы с собой принесете?

- Я могу вам дать еще двадцать пять тысяч. Затем придется несколько дней подождать.

- Послушайте, до сих пор я считал это только бабьими дразгами. Если дело посерьезнее — я не играю.

— Раз я предупреждена, ничего серьезного не будет, — сказала Мики. — К тому же вы правы: все это только бабьи дразги.

Он ждал ее вечером в переулке, где она накануне ставила свою машину.

- Не выходите, — сказал он, — давайте смоемся. Я не хочу, чтобы нас с вами видели дважды в том же месте.

Они проехали вдоль пляжа в Леке, затем Мики взяла направление на Бандоль.

- Я в такой игре вам не партнер, — сказал он в машине, — даже если дадите в десять раз больше.

- Вы мне нужны.

— Вам остается только быстро-быстро бежать в полицию. Разжевывать легавым не придется: им достаточно развинтить трубу и прочесть телеграмму. Девушки добираются до вашей шкуры.

- Дело сложнее, чем вы думаете, — сказала Мики. — Обратиться в полицию я не могу, вы мне нужны, чтобы

все это застопорить, но Доменика мне нужна больше и будет еще нужна много лет. Не старайтесь понять, я все равно не стану объяснять.

— А кто та женщина во Флоренции?

— Ее зовут Жанна.

— И у нее до того разгорелись глаза на ваши деньги?

— Вот то-то и дело, что я этого не думаю. Или не в этом истинная причина. Но это никого не касается. Ни полиции, ни вас, ни Доменики.

Мики молчала до самого Бандоля. Они подъехали к казино, стоявшему в конце пляжа, но, хотя Мики и выключила мотор, не вышла из машины.

— А вы понимаете, как они собираются действовать? — повернувшись к парню, спросила Мики. На ней в этот вечер были брюки бирюзового цвета, босоножки и та же вязанная спортивная куртка, что и накануне. Вынув ключи из контакта, она несколько раз во время разговора прижимала их к разгоряченной щеке.

— Я пробыл десять минут в этой ванной, — сказал парень. "Кларисса" — марка газовой колонки. Я отвинтил гайку на стыке труб над окном и увидел, что прокладка совершенно мокрая и вся прогнила. В коридоре есть другие стыки, но с них довольно и одного. А еще им нужна закрытая комната и фитилек колонки. Кто монтировал установку? Она совсем новая.

— Слесарь из Ля-Сьота.

— Но кто здесь был во время работ?

— Жанна должна была приехать сюда в феврале или марте. За работами наблюдала она.

— Тогда у нее может быть такая же гайка. Это специальная гайка. Даже если бы прокладка пошла к черту, гайка не позволяет вытекать газу настолько, чтобы это могло вызвать взрыв. Если бы она сломала гайку, это стало бы сразу заметно. У них, наверное, есть другая.

— Вы не откажите мне помочь?

— А сколько я за это получу?

— Столько, сколько вы запросили: в десять раз больше.

— Знать бы, что у вас на уме, — сказал он после минутного размышления. — Номер с подражанием — тогда, по телефону — такой, что закачаешься, но пронять можно. Никто лучше меня не изучил эту девушку. Я наблюдал ее часами. Она, конечно, доведет дело до конца.

— Не думаю, — сказала Мики.

— Что вы намерены делать?

— Я вам уже сказала: ничего. Вы мне нужны, чтобы вести наблюдение. Скоро приедет Жанна. Я хотела бы знать только одно: когда они собираются поджечь дом?

— Они, может, и сами еще не решили.

— Как только они это решат, я должна быть предупреждена. Если я буду знать, ничего не произойдет, обещаю!

— Ладно, попробую. Это все?

— По вечерам на вилле чаще всего никого подолгу не бывает. Можете вы в наше отсутствие проверять, в каком состоянии прокладка? В какой-то мере это послужит нам указанием. Помешать ей мне не удастся. Запретса, когда принимает ванну, и все.

— Почему бы вам не поговорить с ними начистоту? — спросил парень. — Вам что, неясно, с чем вы играете?

— С огнем, — ответила Мики, и у нее вырвался горький смешок.

Она нажала на стартер. На обратном пути Мики говорила главным образом о нем, об изяществе его движений, которое ей так в нем понравилось. А он думал о том, что она хороша, гораздо привлекательнее всех известных ему девушек, но что ему приходилось держать себя в узде. Если бы даже она сию минуту согласилась поехать с ним куда-нибудь, он не променял бы на это свои десять сотен косых, которые сулят ему более длительное удовольствие, чем миг, проведенный с нею.

Как бы читая его мысли, Мики сняла руку с руля и протянула ему обещанные деньги.

Он сделал все, что просила Мики. В ту неделю Мики и До четыре раза выезжали на машине и проводили вечер бог весть где. Через гараж, всегда незапертый, он забирался на виллу и осматривал прокладку.

Юную миллионершу с длинными черными волосами он встречал еще дважды: один раз днем, когда она лежала на пляже у подножья скалы, а второй раз — вечером в портовой пивной в Ля-Сьота. Мики, как видно, успокоилась, была уверена в себе и нашла выход из положения. К тому же, она утверждала, что ничего и не случится.

С приездом на мыс Кадэ золотоволосой великанши все резко изменилось.

Он наблюдал за всеми тремя еще целую неделю, пока Мики не дала ему знать, что хочет с ним поговорить. Чаще всего он стоял на обочине дороги за домом, но иногда подходил ближе, прислушивался к доносившимся из дома голосам. Однажды вечером Мики вернулась с пляжа одна, босиком, в купальном костюме и назначила ему свидание на тот же вечер.

Они встретились в порту в Ля-Сьота. Она не вышла из машины, дала ему пять кредиток по десять тысяч франков и заявила, что больше в его услугах не нуждается, к тому же великанша несколько раз замечала его, когда он бродил возле виллы. А в общем, затея ее подруг оказалась шуткой, Мики теперь знает это точно и дружески советует ему удовольствоваться полученной суммой, забыть эту историю. Если же он станет ей докучать, то она найдет способ отбить у него охоту к таким делам, она это твердо решила.

Отъезжая, Мики сперва вывела машину метров на десять вперед, остановилась, дала задний ход и, проехав обратно те же десять метров, поравнялась с парнем. Высунувшись в окошко, Мики сказала:

— А ведь я даже не знаю, как вас зовут.

Он ответил, что ей это незачем знать.

7

Он сказал, что его зовут Серж Реппо. Сначала, когда я пыталась звать на помощь, он зажал мне рот и втолкнул в гараж. Потом, поняв, что я его слушаю и кричать не буду, он закрутил мне правую руку за спину, втиснул между машиной и стенкой и крепко прижал к себе. Держа меня так и крепко прижимая к себе, едва лишь я пыталась высвободиться, он говорил не меньше получаса тихим, взволнованным голосом. Я откинулась на капот «Фиата», ноги мои онемели, я уже их не чувствовала.

— После этого я все бросил. Пятого июля я узнал, что при пожаре кто-то все-таки погиб. Это меняло все. Сначала я подумал, что Доменика вас перехитрила, потом стал себя спрашивать: а так ли? Я пересмотрел все газеты, выводывал, как было дело, у здешних людей, но толку не добился. История с потерей памяти меня и вовсе озадачила.

Я еле дышала. Если бы я даже хотела крикнуть, у меня не хватило бы сил это сделать.

— Три месяца, — сказал он. — Клянусь, это немалый срок. И вот вы вернулись. Когда я увидел вас с этой высокой блондинкой, я понял: та, другая не выкрутилась, вы — Мики. Правда, у меня были кое-какие сомнения — с июля вы порядком переменились. Попробуй вас узнать, когда у вас эти волосы, это лицо! Однако я последнее время наблюдал за вами обеими. Все эти занятия с репетитором: «ходи так-то», «застегивай жакет так-то...» — сплошной блеф! По правде, я не собирался много с вас взять... Ну, а теперь-то угрызений совести у меня больше нет. Ведь в игру-то ввел вас я. Вот я и хочу свою долю. Ясно?

В отчаянии я замотала головой. Он неправильно истолковал этот жест.

— Не прикидывайтесь дурочкой! — сказал он, грубо притянув меня к себе, так что мне стало больно. — Допускаю, что вас стукнуло по башке. Будь это липа, люди бы узнали. Но вы-то прекрасно знаете, что убили ее.

На этот раз я утвердительно кивнула головой.

— Умоляю вас, отпустите меня.

Я сказала это шепотом, и он не столько услышал, сколько угадал.

— Но вы хотя бы поняли? Я снова кивнула, изнемогая от муки. Он колебался, отпустил мою руку, отодвинулся, но, словно опасаясь, что я могу ускользнуть, продолжал держать одну руку на моем бедре. Рука эта поддерживала меня, когда я повалилась на капот машины. Сквозь ночную рубашку я чувствовала эту потную руку.

— Когда возвращается ваша подруга?

— Не знаю. Через несколько дней. Прошу вас, оставьте меня. Кричать я не буду и не убегу.

Я оттолкнула его руку. Он прислонился к стене гаража: некоторое время мы молчали. Я оперлась о свою машину, чтобы встать. Гараж закружился у меня перед глазами раз, другой, но я не упала. Тут только я почувствовала, что ноги у меня как лед — когда он втолкнул меня в гараж, я потеряла туфли. Я попросила его подобрать их.

Он подал мне туфли и, как только я их надела, снова подошел поближе.

— Я не хотел вас пугать. Наоборот. Я всячески заинтересован в том, чтобы мы сговорились. Вы сами

виноваты, что я вас сюда затолкал. Дело-то несложное. Я могу причинить вам неприятности, а могу и оставить в покое. Неприятности доставлять мне ни к чему. Вы обещали мне лимон. Дадите два. Один за вас, один за высокую блондинку. Честно? Разве нет?

Я отвечала на все «да». Я ждала только одного — остаться одной, подальше от него, и опомниться. Я обещала ему все на свете. Вероятно, он понял мое состояние, потому что заявил:

— Усвойте раз и на всегда, ваша подпись в разносной книге есть и останется.

Я ухожу, но я здесь, настороже, вы от меня не уйдете, так что не глупите: один раз вы меня объегорили, но с меня довольно и одного раза, я поумнел.

Он отошел от меня еще дальше, его фигура, залитая лунным светом, возникла на пороге гаража.

— Могу я на вас рассчитывать?

Я ответила:

— Да, да. Уйдите.

Он сказал, что мы еще увидимся, и исчез. Я не слышала его шагов. Когда я через минуту вышла из гаража, луна озаряла пустынную местность. Право же, я могла подумать, что мне снова привиделся кошмар.

Я не сомкнула глаз до рассвета. У меня опять болел затылок, разламывало спину. Под теплым одеялом меня бил озноб.

Я пыталась вспомнить слово в слово все, что он мне рассказал. Но уже в гараже, несмотря на мое мучительное положение, каждая фраза, которую он шептал, дыша мне в лицо, вызывала в моем мозгу образы. Помимо моей воли на эти вызванные его рассказом образы наслаивались образы, порожденные моим собственным представлением. Все искажалось.

Да и кому верить? Мне не довелось ничего пережить. Я жила чужими словами. Жанна рассказывала мне о Мики, описывая ее по-своему, — и это был сон. Я воспринимала ее слова по-своему, и, когда пересказывала себе те же события, когда рисовала себе того же человека, это снова был сон, еще более искажавший мир.

Жанна, Франсуа Руссен, Серж Реппо, доктор Дулен, мадам Иветта — только зеркала, отражавшиеся в других зеркалах. В итоге все, что я принимала на веру, существовало только в моем мозгу.

В ту ночь я даже не пыталась найти объяснение странной тактике Мики в изображении Сержа Реппо. Тем менее пыталась я снова восстановить в памяти другую ночь, когда горел мой дом.

До самой зари, точно осел, качающий воду и непрестанно шагающий вокруг колодца, я без конца возвращалась все к тем же ничтожным подробностям. Так, например, я представляла себе, как Серж наклоняется, чтобы достать с сиденья моей машины черную тетрадь (Почему черную? Ведь он мне этого не говорил). Поцеловал ли он Мики? («Я даже мимоходом поцеловал вас».) В щеку? В губы? Наклонившись? Вставая? Правда ли вообще-то, что он рассказал?

Я ломала голову еще вот над чем: я чувствовала, что от меня несет дешевым одеколоном, которым он душил волосы. Ведь и Мики ударил в нос этот тошнотворный запах. «Ваша подпись, — сказал мне Реппо, — была очень четкая, я тут же проверил ее при свете приборной доски. Вы даже спросили меня, чем я душу волосы. Это только в Алжире есть такой одеколон. Я отбывал там воинскую повинность. Вы же сами видите, такое не выдумаешь!»

Быть может, он сказал Мики, как называется этот одеколон. Но мне-то, в гараже, он не сказал — для меня это было нечто без имени. И этот въедливый или, как казалось мне, въевшийся в мои перчатки, в кожу моих плеч запах наводил на меня ужас, — больше чем мысль о вреде, который может причинить Реппо нам с Жанной, — такой ужас, что мне пришлось зажечь свет. Наверное, шантажист бродит вокруг дома, вокруг меня. Он стережет меня, как свое добро; стережет ставшие его собственностью память, сознание.

Зайдя в ванную, я помылась и снова легла, так и не смыв с себя чужую печать. Я не знала, где искать в доме снотворное. Солнечные лучи уже пробивались сквозь ставни, когда я, наконец, заснула.

В полдень, когда меня разбудила встревоженная мадам Иветта, мне снова стало чудиться, что от меня пахнет все тем же одеколоном. Моей первой мыслью было: а не подозревает ли Серж, что я попытаюсь предупредить Жанну? если я это сделаю, он так или иначе узнает, обозлится и донесет на нас обоих. Этого нельзя допустить.

Два дня к ряду я ломала голову, строила самые нелепые планы, как я избавлюсь от Реппо, не предупреждая Жанну. Бесцельно слонялась я между пляжем и диваном в нижнем этаже. Реппо не пришел.

На третий день — это был день моего рождения — пирог, испеченный мадам Иветтой, напомнил мне что сегодня должны будут вскрыть завешание. Жанна позвонит мне!

Она позвонила во второй половине дня. Серж, наверное, был еще на почте. Он мог нас подслушать, он поймет, что я — До. Я не знала, в какой форме сказать Жанне, чтобы она приехала. Я сказала, что скучаю по ней. Она

ответила, что и она скучает по мне.

Я была поглощена мыслью, что кто-то третий нас слушает, поэтому не сразу уловила, как странно звучит голос Жанны; заметила это только к концу разговора.

— Пустяки, — сказала она. — Устала. У меня неприятности. Я должна задержаться еще на день или на два.

Когда я вешала трубку, меня охватило такое чувство, словно я расстаюсь с Жанной навсегда. Но я только чмокнула в трубку, это означало «целую» — и ничего Жанне не сказала.

Снова утро — снова страхи.

Выглянув из моего окна, я увидела двух мужчин у гаража, которые что-то записывали. Они подняли головы и кивнули мне. Смахивали они на полицейских.

Когда я спустилась вниз, их уже не было. Мадам Иветта сказала, что это служащие пожарной охраны в Ля-Сьота. Они приходили что-то проверить, а что — она не знает. Кажется, что-то имеющее отношение к стропилам дома и мистрально.

Я подумала: «они» производят новое расследование.

Поднявшись к себе в комнату, я оделась. Я не понимала, что со мной творится. Меня била дрожь, я видела, как дрожат мои руки, и я снова, хоть уже научилась этому, никак не могла сама натянуть чулки. Между тем мой мозг охватило странное оцепенение, он был точно скован. Босая, с чулками в руках, я долго стояла посреди комнаты и вдруг услышала, как кто-то во мне говорит: «Будь Мики на твоём месте, она бы защищалась. Она была сильнее тебя, была бы ты одна, Мики бы не погибла. Этот парень лжет». А кто-то другой говорил: «Серж Реппо вас уже выдал. Не для того же явились сюда эти люди через три месяца после пожара, чтобы тебя припугнуть. Беги к Жанне».

Я вышла в коридор полуодетая. Ноги сами привели меня, как лунатика, в обгоревшую спальню Доменики.

На подоконнике сидел неизвестный мне человек в светло-желтом дождевике. Кажется, услышав его шаги, я решила, что это Серж, но передо мной был юноша, которого я никогда прежде не видела, худой, с грустными глазами. Его не удивило ни мое появление, ни то, что я была полуодета, ни мой испуг. Я замерла, прислонившись к двери, прижав свои свернутые в комочек чулки к губам, и мы без слов долго смотрели друг на друга.

Теперь все вокруг было пусто, голо, испепелено... Комната без мебели, с провалившимся паркетом, мое сердце, которое перестало здесь биться. Я видела по его глазам, что он меня презирает, что он мой враг и тоже знает, как можно меня погубить.

За его спиной стукнул обугленный ставень. Юноша встал, медленно вышел на середину комнаты и заговорил. Однажды мы с ним говорили по телефону, — сказал он; он — Габриель, друг Доменики. Он знает, что я убила Доменику. Он подозревал это с первого дня, а теперь убежден, завтра у него будут доказательства.

Это был безумец, но голос его звучал бесстрастно.

— Что вы здесь делаете?

— Ищу, — ответил он, — вас ищу.

— Вы не имеете права без спроса входить в мой дом.

— Это право дадите мне вы.

И так же бесстрастно и деловито он повел свой рассказ.

Он выжидал. Ему было не к спеху. И он хорошо сделал, что выждал. Со вчерашнего дня он знает, почему я убила Доменику. У него даже есть деловой повод, дающий ему право входить в мой дом. Все расходы во время его пребывания на юге, пока он не докажет факт убийства, будут ему оплачены.

Этим поводом был страховой полис, коллективный договор о страховании жизни, заключенный служащими банка, где работала Доменика. В связи с подписанием страхового полиса он и познакомился с ней.

Тут Габриель прервал свой рассказ и спросил, не кажется ли мне, что жизнь — престранная штука? Ведь он ждал три месяца, так как хорошо знал, что один из параграфов страхового договора даст ему право произвести расследование на мысе Кадэ. А когда он узнал о смерти До, он даже заплатил из собственного кармана ее последний месячный взнос по страховке. Если его начальство узнает об этом, непорядочном для страхового агента поступке, то его нигде не будут брать на работу по специальности. Но прежде чем это откроется, он успеет отомстить за свою подругу.

Я немного успокоилась: он старается произвести на меня впечатление, куражится своим упорством. Он ничего не знает. Он объяснил мне, что в Италии дело обстояло бы иначе. И его бы там приняли с распростертыми объятиями. Во Франции До подписала только полис, обязывающий уплачивать по две тысячи франков

ежемесячно в течение десяти лет, а Сандра Рафферми заключила уйму различнейших страховых договоров, в общей сложности на десятки миллионов. И если малейший повод к невыплате компанией страховки мог играть роль даже при таком ничтожном полисе, как у До, то итальянские страховые компании заинтересованы гораздо больше в расследовании.

Повод к невыплате? Страховые полисы Рафферми? Меня снова охватила тревога. Я ничего не понимала. Габриеля это как будто удивило. Затем он, очевидно, догадался, что от меня кое-что скрыли. И вот тут-то его лицо на миг осветила усмешка, не веселая, а ироническая.

— Сегодня вечером, либо завтра, если вы помешаете мне делать мое дело, этот дом наполнится ищейками, перед которыми я щенок, — сказал он, — стоит мне только пожаловаться в моем рапорте на противодействие, оказываемое мне девчонкой, которая хочет что-то утаить. Я пройду еще раз по дому. Советую вам одеться. Потом поговорим.

Он повернулся ко мне спиной и спокойно пошел в ванную, пострадавшую от пожара. На пороге он обернулся и, медленно выговаривая слова, сказал, что у моей приятельницы Мюрно большие затруднения во Флоренции: наследницей в завещании объявлена До.

Всю вторую половину дня я пыталась вызвать Флоренцию. Звонила по всем телефонным номерам, которые нашла в бумагах Жанны. К вечеру добилась ответа. Никто не знал, где искать Жанну, но мне подтвердили, что за десять дней до своего последнего приступа Рафферми просто-напросто составила новое завещание.

Друг Доменики бродил вокруг дома. Он ничего не ел и даже не снял с себя дождевика. Иногда, не считаясь с присутствием Иветты, он, точно следователь, задавал мне всякие вопросы, на которые я была не в состоянии ответить.

Он все ходил вокруг меня, а я не смела его выгнать, боясь привлечь к себе внимание окружающих, и мне чудилось, что меня уносит в круговороте.

И вдруг, когда он шагал перед домом, круговорот во мне кончился, застыв на одной-единственной и безумной мысли: у Мики были те же побуждения — точь-в-точь такие же, что у меня: занять мое место, чтобы вернуть себе наследство!

Я поднялась к себе в комнату, взяла пальто и деньги, которые мне оставила Жанна, переменяла перчатки.

Доставая из шкафа чистые перчатки, я увидела револьвер с перламутровой ручкой — мы нашли его в чемодане Мики. Я долго колебалась. Но все-таки я взяла его. Юноша в дождевике у гаража молча смотрел, как я заводила машину. Я уже отъезжала, когда он меня окликнул. Заглянув в окошко, он спросил, не кажется ли мне сейчас, что жизнь престранная штука, ибо погубит меня красивая машина.

— Вы знали, что наследницей станет До, — сказал он. — Знали, потому что вам объявила это ваша тетка. Вы ей звонили из Парижа, когда за вами приехала гувернантка. Это написано черным по белому в завещании. Вы праздновали день рождения До, вернувшись домой, одурманили ее снотворным, заперли в спальне и устроили в ванной пожар.

— Вы совсем спятили!

— Вы предвидели все, кроме двух возможностей: во-первых, что со всем прочим вы можете потерять и память и забыть даже свой замысел выдать себя за Доменику; во-вторых, что спальня может не загореться. Да, да, она не загорелась!

— Я не желаю вас слушать! Убирайтесь!

— Знаете ли вы, чем я занимался эти три месяца? Изучал дела о пожарах со времени основания моей страховой компании. Расположение дома, направление ветра в тот вечер, сила взрыва, очаги огня в ванной — все указывает на то, что этот сволочной поджог не коснулся бы спальни Доменики! Огонь уничтожил бы только часть дома, против ветра он не мог бы распространиться. Вам пришлось разжечь его снова, в гараже, под ее спальней.

Я взглянула на него. Он понял по выражению моих глаз, что я поддаюсь его доводам. Он схватил меня за плечо, но я высвободилась.

— Отойдите, раздавлю!

— И сожжете эту машину, как сожгли первую? Так вот, на этот случай даю вам совет: не перебарщивайте, не теряйте головы, действуйте осмотрительно, когда будете пробивать бак машины. Иначе человек наблюдательный это может потом заметить.

Я рванулась вперед. Заднее крыло моего «Фиата» отбросило Габриеля, он упал. Я услышала крик мадам Иветты.

После операции я плохо справлялась с машиной, ехать быстро мне было трудно. Я видела, как сгущаются сумерки и по берегу бухты зажигаются огни Ля-Сьота. Если Серж Реппо уходит с работы в пять часов, как летом, я его уже не найду. А надо помешать ему заговорить.

На почте его не оказалось. Я опять вызвала Флоренцию. Жанну я не застала. Когда я снова села за руль, была уже ночь, было холодно, а у меня не хватило духу даже поднять верх машины.

Некоторое время я ездила взад и вперед по Ля-Сьота в надежде найти Сержа Реппо, вернее, надеюсь на это одно мое «я». Второе «я» было занято мыслями о Мики и о Жанне. Не могла она так ошибиться, не могла меня обмануть. Серж солгал. Мики ничего не знала. Я — До, и убила я ни за что, за наследство, которое от меня ускользало и которое досталось бы мне без убийства. Попросту, если бы я подождала. Смешно. Надо бы смеяться. Почему же я не смеюсь?

Я вернулась на мыс Кадэ. Я заметила издали стоящие перед домом машины с зажженными фарами. Полиция. Остановившись у обочины дороги, я попробовала еще раз собраться с мыслями, составить какой-то план, еще раз продумать всю историю с пожаром.

И вот что тоже смешно. Три месяца подряд я без устали старалась доискаться истины, перевернула все, вела расследование под стать этому храброму страховому агенту, но достигла большего в этом деле, к которому он относился с таким страстным интересом, куда ни глянь — всюду была я. Я была следователем, убийцей, жертвой, свидетельницей — всем в одном лице. А что произошло в действительности, не откроет никто, если этого не откроет китайский болванчик с коротко остриженными волосами — сегодня вечером, завтра или никогда.

Я шла пешком. У дома заметила белую машину с откинутым верхом, привязанный сзади чемодан, забытый на сиденье шарф... Жанна здесь!

Наглухо застегнув пальто, нащупывая рукой в перчатки лежавший у меня в кармане револьвер Мики, я медленно пошла прочь. Я спустилась на пляж; Сержа там не было. Я снова поднялась на шоссе; его не было и там. Сев в машину, я вернулась в Ля-Сьота.

Я нашла его через час на террасе кафе, где он сидел с какой-то рыжей девушкой. Увидев, что я выхожу из машины, он с досадой оглянулся по сторонам. Я шла прямо на него, и он встал. Он даже сделал два шага мне навстречу — два последних шага школивой кошки. Я выстрелила в него с расстояния в пять метров, промахнулась, пошла вперед, разрядила в него мой маленький револьвер. Он упал ничком на мостовую у тротуара. Выпустив четыре пули, я еще дважды нажимала на собачку, но безуспешно. Впрочем, это уже не имело значения: я знала — он мертв.

Раздались крики, топот бегущих ног. Я села в «Фиат». Включила мотор в бушевавшем вокруг людском потоке, который, казалось, вот-вот меня затопит. Толпа расступилась перед машиной. Я говорила себе: теперь Жанну никто не тронет, она возьмет меня на руки, будет баюкать, пока я не усну, и я ни о чем не буду ее просить, скажу только, чтобы она любила меня по-прежнему. Мои фары сметали с пути шакалов, и они разбегались в разные стороны.

Жанна стояла, прислонясь к стене, в столовой виллы, спокойно ожидая, чуть бледнее, чем всегда.

Она первая заметила меня на ступеньках лестницы. Я видела только ее лицо, на миг искаженное, затем просветлевшее и растерянное. Гораздо позже, когда меня от нее оторвали, я заметила других людей: мадам Иветту, плакавшую, накрыв голову передником, Габриеля, двух полицейских в форме, агентов в штатском и одного из мужчин, которых я видела утром у гаража.

Жанна сказала, что меня обвиняют в убийстве Доменики Лои, что меня сейчас уведут и предъявят мне обвинения, но что это сущий бред: я должна верить в нее, она не позволит им меня мучить.

— Я знаю, Жанна.

— С тобой ничего не случится, с тобой ничего не может случиться. Они попытаются оказать на тебя давление, но ты никого не слушай.

— Я буду слушаться только тебя.

Они оттащили меня от нее. Жанна попросила позволения подняться со мной в спальню, помочь мне собрать вещи. Какой-то полицейский чиновник, говоривший с марсельским акцентом, сказал, что пойдет с нами. Он остался в коридоре. Притворив дверь спальни, Жанна прислонилась к ней спиной. Она взглянула на меня и заплакала.

— Скажи мне, кто я, Жанна.

Она покачала головой — глаза ее были полны слез — и ответила, что не знает. Ничего она больше не знает, знает только, что я ее крошка, ее доченька. А кто я — ей теперь безразлично.

— Ты так хорошо знала Мики, ты не могла ошибиться. Знаешь и меня... Ведь ты хорошо знала ее, правда? Она вдруг грубо меня оттолкнула, вытерла рукой слезы и стала укладывать мои вещи в чемодан. Я села на кровать рядом с нею.

— Я кладу три пуловера, — сказала она, уже спокойнее. — Если тебе что-то понадобится, попросишь у меня.

— Жанна! Мики все знала.

Но Жанна качала головой и твердила:

— Пожалуйста, ну пожалуйста, не надо об этом, ничего она не знала, знала бы — тебя бы здесь не было, погибла бы ты.

— Почему ты хотела ее убить? — схватив ее за руку, вполголоса спросила я. — Из-за денег?

Она замотала головой, ответила:

— Нет, нет, просто я не могла больше терпеть! Плевала я на деньги! Умоляю тебя, молчи.

Я не стала больше спрашивать. Я прижалась щекой к ее руке. Она не отняла ее. Она продолжала укладывать мои платья в чемодан одной рукой. Она уже не плакала.

— Так мне суждено остаться ни с чем, одна ты у меня. Ни наследства, ни мечты на грани сна — одна ты.

— А что это за мечта «на грани сна»?

— Да ты же сама мне об этом говорила: сказки, которые я рассказывала тебе перед сном, когда я была банковская служащая.

Они подвергли меня допросу. Заперли меня в камере при тюремной больнице. Снова жизнь распалась на две половины. Мрак моего беспамятства и режущий свет, когда меня выводили во двор на прогулку. Я видела Жанну из-за решетки в приемной больницы дважды. Я больше не мучила ее. Она была бледна и подавлена, с тех пор как узнала об убийстве Сержа Реппо. Даже улыбка, которой она пыталась меня успокоить, была бледная; Жанна многое поняла, разобравшись в том, что произошло в ее отсутствие.

Они произвели на кладбище автомобилей в Ля-Сьота экспертизу останков моей «MG», тщательно изучали жизнь Сержа Реппо. На одном из обломков бака моей «MG» они обнаружили умышленно сделанную пробоину, но так и не напали на след телеграммы на мое имя, которую получила До. Впрочем, я узнала, что шантажист надул Мики: никакой разносной книги для телеграмм не существует. Вероятно, он заставил Мики расписаться в первой попавшейся ему под руку тетради.

Я убила Сержа Реппо, желая помешать ему рассказать о роли Жанны, но даже мое второе убийство я совершила напрасно. Собрав все оставшиеся у нас деньги, чтобы нанять адвокатов, Жанна сама обо всем рассказала, а я призналась, когда мне стали известны показания Жанны. Мне предъявили обвинение в убийстве, но и Жанне тоже. Я видела ее несколько секунд, когда выходила от следователя. Мы столкнулись с нею в дверях его кабинета.

— Положись на меня. Согласна? — сказала она. — А ты только будь приветлива с ними и думай.

Она погладила меня по волосам и заметила, что они очень выросли. Затем сказала, что следствию нужно получить дополнительные данные и меня повезут в Италию.

— Веди себя, как хорошая Мики, — добавила она. — Будь такой, как я тебя учила.

Следователю Жанна рассказала все, что он хотел и даже больше, но никогда не говорила, и никто этого никогда и не узнал, что у нее был сговор с Доменикой Лои. Я поняла — почему: если я буду молчать, если я — Мики, меня приговорят к более легкому наказанию. Жанна — моя воспитательница, так что главной виновницей будет считаться она.

Когда снова спускается тьма, я могу думать обо всем этом часами.

Иногда я совершенно уверена, что я Мишель Изоля. Я узнаю, что тетка лишила меня наследства и что Доменика и Жанна сговорились меня убить. Сначала я решаю разрушить их замыслы, затем, когда наблюдаю их обеих подле меня, я меняю решение и, воспользовавшись их же планом, убиваю Доменику и выдаю себя за нее.

Иногда я выдаю себя за До ради наследства, которого злопамятная тетка, чувствуя приближение смерти, незаконно меня лишила. А иногда делаю это, чтобы вернуть себе утраченную привязанность Жанны. Иногда — из мести. Иногда — чтобы начать новую жизнь. Иногда — чтобы продолжать мучить. Иногда — чтобы заставить забыть мучения. Иногда — и это всего вероятнее — для всего вместе взятого, чтобы остаться самой собою, приобретая богатство, и стать новым человеком подле Жанны.

Бывают ночью и такие минуты, когда я опять Доменика. Серж Реппо солгал: Мики ничего не знала. Я убила ее. Пламя не охватывало ее комнату, и тогда я подожгла гараж. Нежданно-негаданно я заняла место той, у

которой тогда и был повод совершить убийство.

Но Доменика я или Мишель, я в последнюю минуту попадаю в собственные сети в охваченной огнем комнате. Стоя перед окном на втором этаже, я держу в руках горящую рубашку, накрываю ею лицо и от боли врываюсь в нее зубами, ведь во рту у меня потом нашли обуглившиеся клочки материи. Я выбрасываюсь из окна, падаю на ступени входной лестницы. Прибегают соседи, надо мною наклоняется Жанна и, поскольку я непременно должна быть До, она узнает именно До в этом почерневшем полутрупe без волос и без кожи.

Затем — ослепительный свет клиники. Я — третья. Я ничего этого не делала, ничего не хотела сделать, и я не хочу быть никем из них обеих. Я — это я. Ну, а прочие... Что ж, смерть своих детей не спутает.

Меня лечат. Меня допрашивают. Я говорю как можно меньше. У следователя, при встрече с моими защитниками или психиатрами, в чье распоряжение я поступаю во второй половине дня, я отмалчиваюсь или говорю «не помню». Я отзываюсь на имя Мишель Изоля и предоставляю Жанне решать нашу судьбу, как она найдет нужным.

Даже злая насмешка крестной Мидоля меня больше не трогает: согласно ее завещанию Мики будет выплачиваться рента — ровно столько, сколько получала бывшая банковская служащая — Доменика Лои, которая и должна выплачивать ежемесячно означенную сумму.

Мики!... Та, что двести раз в день проводила щеткой по волосам... Бросала сигареты недокуренными... Мики, засыпавшая мгновенно, как кукла. Мики, плакавшая во сне... Кто я, Мики или Доменика? Уже не знаю.

Что, если Серж Реппо, прочитав газеты и вспомнив о телеграмме, все выдумал? Все: и свою встречу с Мики на пляже, и встречу с ней в табачной лавочке в Леке, и слежку, которую она якобы поручила ему перед убийством... Тогда я — До, и все произошло, как мы с Жанной задумали. А Габриель, упорствуя в своем стремлении отомстить за подругу, ее погубил, да и я сама погубила себя, заняв место Мики, ведь именно у Мики были мотивы для убийства.

Доменика или Мики?

Если Серж Реппо не солгал, то в день пожара ошиблась Жанна, ошибается сейчас и всегда будет ошибаться. Я — Мики, а она этого не знает.

Не знает.

Не знает.

Либо она это знала с первой же минуты, когда я была еще без волос, без кожи, без памяти.

Я сумасшедшая.

Жанна знает.

Жанна всегда знала.

Потому что все тогда объясняется. С того времени, как я открыла глаза при вспышке белого света, одна только Жанна принимала меня за До. Все, кого я встречала, в том числе мой любовник и мой отец, принимали меня за Мики. Потому что я и есть Мики.

Серж Реппо не солгал.

Жанна и До замыслили меня убить. Я узнала, что они готовят мне гибель, и убила До, чтобы стать ею, ведь крестная сказала, что, рассердившись на меня, изменила завещание.

Да и никогда Жанна не ошибалась. Вечером перед пожаром она увидела, что ее план провалился.

Она знала, что я — Мики, но ничего не сказала. Почему?

А ошибалась я, когда заполняла бланк в гостинице, потому что перед пожаром училась быть До. Но я никогда не была До: ни для Жанны, ни для кого другого.

Почему Жанна ничего не сказала?

Дни идут за днями.

Я одинока. Одинока в своих поисках истины. Одинока в своих попытках понять. Если я Мики, я знаю, почему Жанна хотела убить меня. Мне кажется, я знаю, почему — уже потом — она, несмотря на все, убедила меня, что мы сообщницы. «плевала я на деньги, умоляю, молчи».

Если я Доменика — я лишаяюсь всего.

Во время прогулки в тюремном дворе я стараюсь увидеть свое отражение в оконном стекле. Холодно. Я всегда зябну. Мики, наверное, тоже всегда зябла. Пожалуй, из двух сестер, которыми я не хочу быть, Мики мне больше сродни. Разве Доменика зябла, разве ее бросало в озноб от зависти и злобы, когда она бродила под окнами своей

длинноволосой жертвы?

Снова спускается тьма. Надзирательница запирает за мной камеру, в которой живут три призрака. Я чувствую себя на своей койке, как в первый вечер в клинике. Я успокаиваюсь. Еще одну ночь я могу быть кем захочу.

Быть мне Мики, которая внушала такую любовь, что ее хотелось убить? или быть другой?

Я мирюсь с собой даже в роли Доменики. Я думаю о том, что меня увезут далеко-далеко, на день, на неделю, а может, и на больший срок, и что в конце концов судьба не во всем мне отказывает: я увижу Италию.

ЭПИЛОГ

Память вернулась к преступнице днем в январе, через две недели после ее возвращения из Флоренции, как раз в ту минуту, когда она подносила ко рту стакан с водой. Стакан упал на пол, но не разбился, бог весть почему.

В том же году она предстала перед судом присяжных. По делу об убийстве Сержа Реппо суд, учитывая состояние подсудимой в момент совершения убийства, постановил следствие прекратить за отсутствием состава преступления. Но за соучастие в убийстве Доменики Лои, совершенном Жанной Мюрно, ее приговорили к десяти годам тюремного заключения.

Во время публичного судебного разбирательства она всячески старалась стушеваться, предоставляя своей бывшей гувернантке отвечать на задаваемые им обоим вопросы.

Выслушав приговор, она побледнела и прижала руку в белой перчатке к губам. Жанна Мюрно, приговоренная к тридцати годам лишения свободы, привычным жестом мягко отвела ее руку и сказала что-то по-итальянски.

Жандарму, который конвоировал осужденную из зала суда, показалось, что она несколько успокоилась. Она угадала, что он служил в Алжире, и даже сказала, какой одеколон он употребляет, потому что когда-то у нее был знакомый, который им душился. Однажды летней ночью, в машине он сказал ей название этого мужского одеколona; оно и умильное и нагловатое, а в общем, как и самый запах, довольно противное: «Ловушка для Золушки».